

Дед Максим любил рассказывать эту историю, потому что остался самым старым в деревне и, пожалуй, один помнил деда Маркела и его повествование.

– Деревня наша как будто убегала от кого, да она и на самом деле пыталась от большой воды схорониться, спервоначалу обосновалась между двух озерин, так, ежели сурьезно, то лужицы, не больше того. На этом берегу чихни – с того здоровья пожелают. Но рыбёшка в них водилась, опять же не из благородных, но рыба едовая и во всех видах съедобная. Имя ей будет карась, ни сёдни, ни вчерась. О рыбе этой и как её добывают, а пуще того, как поедают наши деревенские, я как-нибудь особо распространюсь, а сейчас про деревню. Сказывал эту быль дедушка покойный, а он сто пять годиков прошарашился по земле, в семьдесят женился на молодухе, да ещё двоих ребятишек изладил. Знамо, шептались, что помогли, мол, добры люди, но, когда ребятишки подрастать стали, сумлений не сделалось: наших кровей, что парень, что девка. И взгляд суровый, и речь с хрипотцой, как будто скомандовать чего хотят либо дельное посоветовать. Тогда и разговоры утихли. Да чего об этом, молодуха кажнное утро с улыбочкой на крыльцо выходила, потянется, бывало, аж в поясище хрустнет.

– Ты бы, Апросинья, морду-то с утра не кривила, всё хошь чего-то изобразить непонятного, – проворчит поране вставшая Евдокея, снохой она доводится Апроше, хотя годков-то поболее будет. Двор один, управа у каждого своя. Вот надо же, как жили: отцов дом как корень, сынов рядом, другого сына обочь, дочь замуж выдали – желательно и зятя припрячь, и ему дом. А ограда больша, заплотом обнесена, в каждом углу навес, рядом тепляк для коров с телятишками и лёгкий двор для лошадей. Так вот; дед Маркел Епифантьевич как-то рассказывал, мы ещё сопливые были, а слушали люди справные, солидные, и мы между них. Сказывал, что отец его Епифан Демидович шёл в эти края аж от Онежского моря, он грамоте был обучен сурьезно, показывал мужикам холстину, по которой изображён был тот путь. И за место это земельному начальнику преподнесена была икона древнего северного письма, вся в золотой ризе и камнями изукрашена. Начальник тот за подарок поклонился, икону развернул от рукотерта расшитого и приложился трижды с крестным знамением. Сказал, что примет и сохранит, а как церковь построит общество, то привезёт икону и на коленях к иконостасу приставит. Так и сделал потом, не обманул.

Первые дома срубили по внутренним берегам озерков, хоть тот человек упреждал:

– Мужики, не льститесь на видимую удобицу, не жмитесь к воде, потому как бывает в пять годов раз большая вода.

Наши, конечно, понятия не имеют, с водой знались с детства, вперёд плавать умели, чем ходить, а тут пугают. Но человек разьямчил, что большая вода стихийно приходит и всё забирает, и живое, и недвижимое. А приходит потому, что в дальних китайских краях с гор истекают ручьи, в казахских горах весной воды вниз падают, тихой рекой приходит вода в долину и так же тихо вытекает к северным морям. Только случается, много снега и льдов плавится под горным солнцем, воды смыывают и скот, и посева, людей смыывают, аулы и кишлаки, под заунывный плач осиротевших баб вода скатывается в долину, и нет тут ей никаких преград. Высоченным валом идёт, со льдом, звуки издаёт пугающие. Диковинные и жуткие рассказывал человек истории, что и стога неслись, и бани, и мосты сланские со скотиной, и даже волчица с выводком спасалась на вывороченном плетне. Через три лета случилось, ночью загрохотало, как майский гром, хотя какой гром, апреля середина. Повыскакивали, и при ясной луне узрели наиболее глазастые, что белый вал идёт на деревню. Ну, вал – дело знакомое, только в море можно баркас в лоб волне поставить, а тут дома, скотина и ребятишки. Сообразили, запрягли телеги, орду побросали, барахло какое, и в гору. Скот тоже погнали, лошадей выпустили, те поумнее, сами спасенье найдут. Двух улиц лишились, вот тогда и подалась деревня в гору. Получилось, как будто разбежалась, да силов не хватило, так на полдороге и остановилась.

Вот так мы в этих краях образовались, так и род наш попёр, слободный да работающий. Акимушкины далеко знамениты были маслом коровьим живым и топленным, купцы, сказывали, для чужих земель сторговывали пудами. А ещё мясом, да пшеничкой, да мукой-крупчаткой, такой, что булки из той муки, бывало, хозяйки из печи вынуть не могут, так поднялись, что не входят в печное устье. А отчего? Оттого, что рбили мы от зари до зари, на солнышко не заглядывали, а только по команде старейшего можно было остановиться. Вот и вам, робята, предстоят дни и годы трудов и радостей на родной матушке – сырой земле.

Ты, Лавруша, совсем маленький, слушаешь, и сладко тебе от той истории и того завтрашнего радостного дня, который обещает дед Максим, старый и седой с головы до бороды, даже брови кустистые взялись белизной.

Сможешь ли ты вспомнить, Лаврентий, напряги тугой звенящей струной свою память, до мозгового простука, до физической боли напряги, отринь всё земное, но вспомни, накормил ты тогда солдат пригоревшей своей кашей? Накормил или нет? Если опять придёт убитый ротный – что ты ему скажешь? И нет тебе покоя, тысячу раз проклятый и прославленный простым солдатом повар, от которого зависела половина жизни ребят. Они всегда ругали тебя, что в санчасть бегаешь к девчонкам, а каша в это время от возмущения вся горит. Ругали, конечно, шутейно, у кого на войне язык повернётся против повара, а тем паче – рука. Поваров не били. Но ты-то знаешь, что следовало бы иногда выправлять нехорошую линию ихнего поведения, когда, к примеру, в соседнем батальоне повар сахар вполовину стаскал связисткам, и масло тоже. Ты ведь тоже получил ко дню рождения товарища Сталина пол-ящика молосного, у вас в деревне не называют сливочным, а молосным, ну, молочным бы надо, да и так ладно. Ты всё поделил и раздал, рядом со старшиной, тот спирт разливал, так и отпраздновали хорошо, если не считать вечерней атаки налетевших мотоциклистов и троих наших, которым ты тоже копал неглубокие ямки.

А в тот злопамятный день варил ты перловку с зайчатиной – утром снайпер Вася из северных народов принёс, бросил у тележного колеса:

– Вот, Лаврик, добавка к паре фрицев, уже на свету выскочили порезвиться, ну, я и не устоял. То ли охотничья заросшая страстишка пробилась, то ли мясного захотел. Обладить-то умеешь?

Ты тогда сильно возмутился:

– Да я этого зверя столько туш перевешал, что счёту нет! Что мне заяц? Я кабанов драл, лося самолично свеживал, до медведя дело доходило...

– Не дался медведь? – устало спросил снайпер Вася, широколицый, узкоглазый, суровый с виду, добрый, как ребёнок, а вот кто научил под шкуру лезть? Конечно, около русского брата нахватался, приёмш хренов. Пришлось отвечать, иначе при ребятах припозорит:

– Я, Вася, на медведя не ходил, это он на меня вышел, когда мы с семьёй сена косили в лесах. Вечерком пошёл я в кусты, присел, как положено, тоскую. Тишина такая, что даже комаров нет. Выпростался я, во весь рост встал, а он передо мной стоит, и морду приподнял, нюхает. Думаю, и спасло то, что сотворил дух ему неприятный, фыркнул он от брезгливости и подался в лес.

Вася не смеялся, только ощерил свои жёлтые кривые зубы и чиркнул слюной:

– Медведь умный.

Ты так возмутился, аж соскочил со своей чурочки:

– Умный! А я потом с кукурок не вставал всю ночь.

Вася уже почистил винтовку и котелок подаёт. Осталось с утра каши на доньшке, остатки сладки заскрёб, к огню поставил, ложку масла плеснул из бутылки.

– А куда батарею девал, повар? Разбежался народ?

Ты объяснил, что дан был приказ сниматься с позиции и уходить в направлении посёлка – это километров пять. А ты оставлен готовить обед, потому что после перехода возможно, батарея сразу вступит в бой, а после боя у солдата две нужды: пожрать и поспать. Вот первую и обязан удовлетворить, так, кажется, сказал капитан, ухвативший на всякий случай банку американской тушёнки.

Ты ещё вчера заметил под леском кучки земли от сусличьих норок, значит, живут большим семейством, место высокое, хлеба года два никто не сеял, но из падаликаросло, сам на ходу ухватил горсть – пшеничка никакая, колосок жалкий, зёрнышко сморщилось, усохло, но всё хлеб, если совсем ничего. Тем и пробивалась сусличья порода. Ты же в молодости на всякую охоту был способен, особенно после коллективизации, когда корову и овец, и всё тягло забрали, и землю, и запас зерна. Кто похитрей – сбавил пшеничку втихую киргизам петропавловским, и скота много сумели увести, пока допёрла власть, что очищается единоличник от содержания, как умирающий при последнем издыхании выгоняет из себя всё, чтобы пред Богом предстать в чистоте телесной, а до душевной – другое дело. И твой отец был не из праведников, сказал, что хоть всякая власть и от Бога, но дожидаться не стал, всё хозяйство спустил с рук, в сусеках можно в чиху играть. Пришлось голодовать вместе со всеми, вот тогда и подсказал старик Шатила, одинокий, безобразный:

– Пошли, Ларька, со мной, научу тебя от голода спасаться.

Пошли вы вечером на Кизиловку, тут раньше ребятишками сусликов из нор выливали. Днём зверьки по домам сидят, вот ребетня и льют в нору воду. Бывало, что папаша ихний хлебает, сколько может, а потом вылезит и бежит в сторону, раздутый и страшный. Ткнет кто палкой в брюхо – вся вода вытечет. А семейство той минутой в разбег, кто куда. Выходит, спасал папаша семью свою – во, как. Бывало, выльют в нору одно ведро, за другим сбегает в соседнюю лягу, а нора уж полная. Только потом объяснил Шатила, что суслик своим телом перекрывает нору в узком месте, а другие тем временем спасательный ход роют.

Шатила показал, как надо петли вязать, чтобы суслик обязательно попался, как петлю крепить, чтобы зверёк с ней не убежал. Ты тогда всё перенял, и тех сусликов носил домой по паре, а то и по две в день. Мать поначалу отказалась суп варить из нечистого мяса, но отец молодец, растолковал, что суслик – есть суть чистойшей животины, потому, как пташка божия, питается природным зёрнышком. Ты тоже поначалу брезговал, морду воротил, а с голодухи как-то хлебнул ложку, вослед другую, – ничего, получилось. А суп в самом деле наваристый был, приходилось на засов запираяться, чтобы не увидел кто случайно да не сдал властям, что свинину жрут втихаря от остальных голодных колхозников. Кроме того, Шатила научил выкапывать по осени сусличьи гнёзда, в которые они натаскивали запас зерна на зиму. Ты сильно удивил и напугал отца, когда приволок в мешке не меньше пудовки пшеницы. Перехвати недобрый человек – тюрьма...

Вася поел каши, выпил кружку чаю с сахаром, винтовку свою рядышком положил и, как с молодой женой в обнимку, уснул. Велел только разбудить и с собой взять, когда к поселку поедешь.

Что же далёк? Ага, сходил на свой помысел, трёх штук принёс, быстро освежевал, в отдельном котелке сварил, обобрал мясо, а кости прикопнул – не дай Бог, кто увидит, со свету сживут. Варёво то в котёл кинул, смотришь – и зайчатина повеселела, верх мелкими звёздочками подёрнулся. Хлебнул ты того кондёра и удивился: до чего к душе, вот порадуются мужики!

Ты тогда ещё насобирал дровец, валёжника разного да прутьев, это хорошая была привычка, потому что на новом месте, случалось, вообще никакого топлива не оказывалось, а то ещё чище – дождь пойдёт. А солдат и в ненастье есть хочет, похлеще, чем в ясный день. Потом Васю поднял, тот на повозке приспособился за тёплым термосом и захрапел. Ты тогда ещё травки подкосил для Серухи, лишней не будет, запас карман не трёт, поймал гулявшую рядом кобылу, запряг в повозку, сел на облучок и покатыл. На ходу соображал, что хлеба ещё и на завтра хватит, а если не подвезут, то мешок сухарей всегда в запасе, заварка есть, да для чая сейчас смородинный лист – милое дело, кто понимает. И неожиданно для себя улыбнулся: ёлки-палки, это же тебе шибко повезло, что бывшего

кашевара особист увёл, сказал, что лазутчики кинули в батарейный котел какую-то яду, от которой сошли бы все мужики, а повар то ли в сговоре, то ли бдительность посеял. Жранину ту вывалили в яму и зарыли, солдатиков тушёной отоварили, банку на двоих, а повара того больше никто и не видел. Поговаривали, что офицеры трёхлитровую фляжку спирта ночью под ей-Богу выпросили у кашевара, а после трёкнулись. Почему фляжка у повара сохранялась? Да, видно, старшина попросил придержать, сам куда-то отлучался. Вот отчего старшина именно тебя избрал изо всех – то неведомо. Угодил, видно, когда-то, вот и поручил. Сказал, что варить научишься по ходу жизни, пару дней тёрся тут паренёк вихрастенский из соседней батареи, подучивал. Конечно, кое-что ты ухватил, а там понеслась.

Вон батарея, под деревней обосновалась, удобная позиция, фашистам за домами не видать. Ребята уж земли нарыли – горы, тут и под орудия, и для землянок, и ходы сообщения. Кухню увидели издалека, кое-кто приветно пилоткой помахал. Ты уже и место выбрал, где остановиться, и термос открыл, и даже запах мясной вкусный уловил, вроде даже двоим-троим успел в котелки положить... Или не успел?

...В мирной ещё жизни случались в деревне драки. Были два братца Казаковы, Илья да Григорий, как подопьют – непременно драку надо учинить. Да не просто так, а чтобы на всю деревню. Колья из огородной изгороди выламывают, и искать себе супротивников. Ведь находились! Совсем из другой компании мужики, слова против не сказали казачатам, а тоже – жердь пополам, и в Бога мать! Вот при такой драке ввязался твой дядя Проня, не из драчливых, но шибко выпивши был, баба не усмотрела, как он кол сгрёб и Гришку повдоль спины вытянул. Гришка взревел, Ильяха орёт: «Кто брата хряснул, не жить тому на белом свете!». Тетка твоя и взмолилась: «Ларя, родной, выдерни ты мово из бучи! Убьют его казачата!». Ты и метнулся. Вот тогда первый раз сознание отлетело, потому что по голове, хоть и со скользом, прошлась Гришкина жердина, вместе со шкурой прическу шибко испортила, но до мозгов не достала.

И тут как точно такая же жердина вдруг сильно ударила тебя по голове, черпак выпал, Серуха взметнулась и пала, брюхо ей разворотило, повозка опрокинулась, ты упал в вывалившееся ещё тёплое варево. Потом снаряды падали ещё и ещё, но ты уже ничего не слышал, был высоко над боем, над этой равниной, над Россией. И летал ты как бы безразлично, наблюдал за всем без содрогания, а надо бы. Кончили батарею. Целиком. Как упал на землю, не помнишь, но была боль по всему телу, как нарыв. Только вечером пришла полуторка, похоронная команда зарыла весь личный состав батареи, только тебя признали живым и кинули в кузов. И что он тебе помнился, этот тобою не виденный бой, временами в ушах вязли крики «Мама!», и рёв искалеченных мужиков, мат, прорывавшийся сквозь взрывы, и грохот такой, как будто вся фашистская артиллерия нашла эту точку и обозлилась. Помнится и варево это ценнейшее, что вёз ребят порадовать. И как зайцев драл, и как сусликов трусовато обрабатывал, чтоб не дай Бог не застучали. Одно время являлась в памяти картинка, что хлебают братцы кондёр, да ещё хвалят находчивого кормильца. Потом совсем другое: взрыв, котёл на землю, лошадь лежа рвёт гужи, а сам ты летишь и так долго, что даже удивился. Ничего, пал-то рядом, это душа взлетала, по ошибке на свой счёт команду приняла. Тоже ничего, вернулась. Всё обошлось, но пришлось по госпиталям потаскаться, всё-таки случай, сказывали, редкий, что с человека черепушку сняло, а он живой. Мозги всякий желающий может при перевязке посмотреть, а Лаврик при этом спокойно шарёнками вертит. Если Гришка тогда только кожу сброснул и причёску навсегда изгадил, то фашист дальше пошёл, кость скovyрнул. Одни доктора говорили, что не жилец теперь солдат, другие проталкивали всё дальше от фронта, в тыловой госпиталь. И погодись там в эту пору молодой хирург, что он сотворил – разве где в бумагах занесено, только при выписке сказал:

– Я тебе, Акимушкин, такую пластину вставил, что ей сносу не будет. Только поимей в виду: в одном месте не рассчитал, не хватило до кости, получилось как бы полое место. И будет теперь у тебя до скончания века бить родничок.

– Откуль? – испугался ты. – Не из башки же?

– Да нет, – успокоил доктор. – Видел ты у новорождённых на маковке родничок?

Кто же не видел, конечно, знакомое дело, ты даже обрадовался:

– Щупал у младшеньких братишков. Ещё говорили, что темечко не заросло.

Врач радости твоей не одобрил, предостерёг:

– Так вот, у братишков, как ты говоришь, заросло, а у тебя всегда будет. Место это береги, пото-

му как там до мозгов одна плёночка, соломинкой можно проткнуть. Шапку носи или кепку, иными словами, всё в твоих руках.

Правда, руки-то остались, потрескавшиеся, обожжённые кипятком и углями из костра, поознобленные в лютые степные морозы, когда даже штрафбат лежит вон за соседней полосой, и немец тоже не дурак в такую погоду «хайлю» кричать, тихо сидит. Один раз унюхал носатый повар, что пахло вкусно, так у него на кухне пахло, когда старшина принёс банку порошка, велел заварить, к батальонному какой-то начальник приехал. Осталась банка и слово новое для тебя: кофей. Не доводилось больше, да и так ладно. А повару и в такой мороз суп надо варить либо кашу, потому что русский мужик в мороз жрать горазд. Вот работы никакой, а кашу клади с горкой, да чтоб сало...

Комиссовали аж в Горьком, на Волге, посмотрели, что вроде умом мужик нормальный, врач ещё спросил, какие арифметические действия в школе изучал. К чему спросил?

– Какие действия, товарищ военврач? Тимка Легонький где-то болтанул, что в советской школе учат только отнимать и делить, ну, и поехал на угольные шахты, даром, что малолетка. А я уж большой был, когда в школу пустили, младшую группу в церковно-приходской с помощью попадьи освоил.

– А попадьа причём?

Ты улыбнулся, покосился на молоденькую медсестру:

– Дрова ей колол, а когда беремья принесу на кухню, она велела руки отогревать и в разных местах её шшупать.

Военврач захохотал:

– Ну, и как?

Тут ты стушевался:

– Да никак, товарищ военврач. Поп, видно, зачуял что-то, отлучил меня от кухни, другой зарок дал.

Но врач уже завёлся:

– А попадьа ничего была, рядовой Акимушкин?

Зарделся давно необнятый, нетронутый женской рукой, нецелованный рядовой красноармеец, и охота было соврать, что и так, мол, и так он эту попадью, наслушался от бывалых, какие фертеля с бабами можно выкидывать, но совесть одолела, и всегда она, совесть, поперёд русского человека. Соврал бы – глядишь, другое отношение у военврача, да и медичка тоже зарозовела, ждут. Проглотил сухую слюну солдат и признался:

– Попадья баба была справная, и есть что в руках подержать, и прочее. Но я тогда ещё Бога боялся, да и мал совсем был.

Тут военврач с медсестрой уже вместе захохотали:

– Так мал или Бога боялся?

Ты тогда совсем сник, сбился с толку, встал и спросил:

– Мне в палату или как?

Военврач тоже встал:

– Поедешь домой, сейчас бумаги сдам, к утру документы оформят.

Ты тогда сходил в хозчасть, получил обмундирование, правда не своё, сапоги по размеру и портянки, шинельку стираную и шапку, потому как зима. В палате вас трое осталось, только спать улеглись, медсестра приходит, та, что на комиссии была:

– Акимушкин, – говорит, – тебя приказано в другую палату перевести. Вещи свои оставь, а сам за мной.

Привела тебя в маленькую комнатку, пижаму расстегнула – и в постель:

– Акимушкин, дорогой, как же ты нецелованный с фронта придёшь, когда ещё тебе несмелому девчонка сама намекает? Иди ко мне, защитничек ты мой, я тебя приголублю.

Шарнул руками в темноте, знакомое руки узнают, такое и у попадьи было. Вот как жену из памяти выкинул, что даже тут не дал себе воли сравнить, не дал, да и хорошо это. Дальше плохо помнишь. Под утро увела она тебя в палату. А ты и не спросил, как зовут, может, написал бы из дому.

Только дом тебя встретил плохо. Понятно, про всё в письмах не скажешь, а дело совсем никуда. Отца Павла Максимовича в первую же осень забрали, да тут и лёг. Бумага пришла, что схоронен под деревней Приветной. Два младших брата остались после войны не по своей воле служить на

освобождённых территориях, посылки кое-какие слали матери. Анна Ивановна писала, что сёстры замуж повыскакивали из шестых классов. А старшой Филька с войны сбёг, объявился тихонько, мать котомку собрала, что есть, и отправила. А куда? Где он теперь, зарылся ли, как волк, в нору или шалаш какой сварганил в глухих местах? А может, разбойником издался, он варнак добрый был ещё в парнях. И что, если так? А далее куда? Ты тогда сказал матери, точно сказал, потому что долго об этом думал, а потом перестал:

– Надо Фильке властям сдаваться. Всё едино отловят – и к стенке! А так, может, снисхождение выйдет.

Мать выла у печи и вытиралась давно не стиранным горшеиком. Тебе шибко к деду Максиму на могилку хотелось сходить, и пытался сходить, попроведать, как заведено, но не пробился, столько снегов намело, что с дороги не сойти. Колхоз солому с горы возит, колея набита, а мимо – по самую ширинку, не ступить. Постоял, поглядел в тот угол, где деду место отведено, да и подался назад. Конечно, место наше, фамильное, тут все Акимушкины зарыты, так заведено в деревне, что у каждого свой край. Отчего умер человек, никто и не спрашивал, нету разницы, от какой причины. А вот Филька дуру сгородил; погинул бы на войне – матери какая-никакая пособия вышла, всё полегче. Да и от народа страшно, считай, в каждой избе зеркала позавешены, а тут живой и блудит неизвестно где.

Вечером прибежала Наташка-цыганка, от тебя занавеской кутней задёрнулись, шептались с матерью так, что посуда звенела. С Наташкой только в разведку ходить, она хриповатая и быстрая на язык, так что весь рассказ слышно было, как на собрание. А дело в том, что приехал к Наташке ухажёр ещё с довоенной вольной цыганской жизни, и сказал, что Филька живёт на кордоне у лесника под Бугровым. Цыган сахар на овёс менял у того лесника и Фильку высмотрел. У матери опять слёзы, а ты всю ночь тыкался мордой в свёрнутую куфайку, перины и подушки мать в войну продала, выменяла на муку или крупу, уже забыл. Тыкался и думал, что надо как-то брательнику пособить, а вот как – ума не хватало. Только начинал сильно думать, душевно – сразу заскребётся какой-то насекомый в голове под шкуркой, шуршит, тукат, как будто выпростаться хочет. Тогда ты переставал, и правильно делал, потому что от головных мыслей и не такие люди с ума спрыгивали. Вон Ефим Кириллович, не нам чета, до войны кладовщиком был, первый человек после председателя, а на фронте чем-то тяжёлым немец по голове угадал, привезли Ефима, а он хуже ребёнка, даже до ветру не просится. Ведь какой человек был – не достать, а под себя ходит.

Ты утром лыжи с крыши достал, хаживал до войны на охоту, широкие себе изладил, скользкие, сами бегут. Горбушку хлеба и луковицу под куфайку спрятал, когда лыжи наострил, мать увидала:

– Ты с чего это лыжи добыл? Не петли на зайцев?

– Петли. – И тронулся со двора. А мысль была такая, что надо дойти до Бугровского кордона, дорогу ты помнил, найти Фильку и хоть узнать, что он дальше-то думает. Цельный день шёл, отвык, ноги вываливаются из сиделки, да и красота вокруг знакомая и забытая. Берёзы стоят в куржаке, толстым слоем ветки и листочки неопавшие прикрыты, ты помнишь, что старые люди не велили куржак сбивать. А забава эта интересная, бывало, гурьбой молодняк уберётся в лес, это с предзимья, когда ещё пешком можно всё обежать, которые женихаются, те приотстают и лижуются. Спрячется кто-то с доброй колотушкой за берёзой, когда пара подойдёт, он и стуканёт по стволу. Весь куржак лавиной скатится с дерева на молодняк. Визгу, смеху... А про то, что нельзя иней стряхивать, дед Максим учил:

– Иней, сынок, куржак по-нашему, упасает веточки и почки будущие от морозу. Так природой предусмотрено, что иначе погинут. Оттого и баловаться не надо. Оно, знамо, любо глядеть, как валится белое да чистое, только вреда больше от этого, чем радости.

Дед Максим, когда совсем старый стал и по хозяйству не работал, летом запрягал в телегу смиренную Пегуху и уезжал в Акимушкины избушки, место так звалось, потому что Акимушкины испокон веку, как начали леса выжигать, тут обосновались. Рай земной, а не надел. Тут для пахоты местища необозримо, надо только дюжину дерев убрать, что на дрова, а что и в дело, распилить и к дому, пригодится в амбаре или в пригоне окладник заменить. Потом ещё трудов немерено, до пашни надо пни вырыть, ямы заровнять, пни собрать да сжечь, потому что от них, если гнить начнут, всякая нечисть может завестись. Тут и пустоши для сенокосов, дед Максим до последу терпел, всё ходил по полянам да пустошам, мял в ладонях-жерновах метёлки трав, только потом говорил:

– Сѣдни станем «литовки» отбивать, ты, Павлуша, каждую проверку, чтобы в работе не стоять. Первая за Пудовским озером пустошка осыпала семена, надо косить. В иных местах тоже поспевают, так что лежать некогда.

– Дак мы, тятя, с весны ещё и не лёживали, – осторожно возразит отец. Лаврику даже сейчас интересно, отец уже четырежды родителем был, а деда побаивался, не перечил, в работе жалел, перед первым закосом говорил:

– Ты бы, тятя, вставал последним, и косил влеготку, а в середине такой слободы нету.

Дед мимо ушей пропускал совет, выговаривал:

– Пока могу, буду за Филькой идти, он из всей природы самый тяжелый, вот и подрежу пятку раз-другой, ястребом станет летать над кошениной. Скажи ему, чтобы барана заколол вечером, свежее утром сварят, а остальное сам посоли, бабам не доверяй.

Барана привезли из деревни, когда последний раз ездили к обедне. Одну службу дед позволял пропустить, а на другую ехали все, только караульщика оставляли. Бывало, в посевную всю неделю дождь моросит, не даёт работать, а в субботу выяснит, ветерок пашню обдует, с утра можно выходить боронить да сеять, а у деда служба. Чуть свет запрягает отец иноходца по кличке Красный, потому как шибко рыжиной отдавал, все усаживаются в дрожки, и через час уже дома. Колокола звонят, вся семья оболокается в праздничное, мужики штаны с чистой рубахой, бабы сарафаны скромные и платки, по улице идут степенно, ни с кем не разговаривают, только поклоны в разные стороны. Церковь уже полна, на клиросе хор что-то бормочет, настраиватся, вроде все молчат, а звук в храме есть. Дед Максим сказывал, что это Господь смотрит, кто пришёл, а кто уже отвернулся от Бога. Вдруг замерло всё, врата открылись, и священник, сияющий, как ангел, только что спустившийся с небес, густо пропел:

– Мир всем! Миром Господу помолимся!

Ты стоял с правой стороны, где положено размещаться мужчинам, искоса подглядывая за дедом, чтобы креститься вместе с ним. Не дай Бог пропустить поклон или знамение – тот заметит и потом расскажет, что черти очей своих выпученных не спускают с паствы, так и ловят каждого, кто отступает от устава, примечают, а потом тихонько явятся: «В Иисуса Христа ты веришь понарошку, крестишься невпопад, дак переходи к нам, у нас вольница, никакого Бога нет, можно не робить, а воровать, можно мать и отца не почитать, а жену променять на соседку». Ну, тебе это пока не грозит. А ты ухватывай службу, когда поклон, когда в пояс, когда на коленях. Бывает, по литургии, что следно глаза закрыть от стыда за грехи свои и плакать, да не на показ, а чтоб сам Господь не видел – во, как. «Тогда для чего реветь, если он не увидит?». «Он не увидит, а знать будет. И когда я приду к нему, и спросит он: «Раб Божий Максим, всё ли ты делал в земном бытии так, как я велел?». Отвечу: «Ты сам видел, Господи, можа, чего и не совсем так, но не во зло, а по недоумению». Вот тогда он простит и кивнёт Архангелу Михаилу, мол, отвори врата рая, этот удостоен».

После службы чинно выходили из храма, бросали нищим медные гроши, обнимались с родственниками. Далее дома был обед, съедалось всё, потому что с раннего подъёма на пашне маковой росинки никто не слизнул. А потом общий отдых. Падали кто где: молодежь под сараем, старшие в доме. А уже вечером со всех улиц деревни тихонько шли телеги и дрожки с отдохнувшим народом. Ты слышал, что единожды отец дёрнулся возразить деду:

– Неделю погоды ждали, давай, тятя, отсеемся, а потом и отмолим свой грех.

Дед Максим потербил свою негустую бородку и ответил:

– Пашка, тебе к сорока годам подпират, а хребтина не окрепла. Останемся, посеем, а что после? Ты забыл, как высыхало всё сеяное и только чернобыльщик дурил на пашне? Забыл, как саранчу приносило по воздуху, и падала она на наши поля, когда Филька соседскую девчонку изнахратил. Только дивом деревня отстояла его от веревки, не оказалось у сиротки заступников. Но свое наказание мы получили, и я про то знал. И есть страх, что тем всё не кончилось.

В стороне Филя тихонько зарезал и освеживал барана. Отец принёс все «литовки», дед Максим выволок из-под крыльца берёзовый коротыш, в торец которого вбита маленькая наковаленка. Угнездившись на низенькой табуретке, дед несколько раз опробовал отбойный молоточек на наковальне, звуком остался доволен, подхватил «литовку», развернул, как надо, и ловкими мелкими ударами стал оттягивать жало косы по всей длине. К концу коса шерилась неровностями, как наджабленные зубы, но ты уже знал, что завтра косари быстро выправят это брусками.

Ты с детства любил покос. Вставали так рано, что только край востока чуть светлел, сонно собирали «литовки», бруски точильные, воду в ладейке, корзину с хлебом, зелёным луком и куском баранины на обед, и гуськом шли на пустошку. Роса так заботливо смочила каждую травинку, так щедро залила тропу, что вода хлюпала в промокших лапотках. Дед Максим шёл передом, и шептали что-то губы его, ты видел сбоку, шептали молитву, дед вчера тебе её прочитал. Остановились у опушки, дед скомандовал:

– Паша, благословясь, начинай ровненько, чтобы ручка по всей полянке прошла, а клинья потом выкосим. Ну, дети мои, настал день, сказано: коси, коса, пока роса! Вот какая нам удача, что утро росное. Это добрый знак. Благословляю всех, и с Богом начали.

Ты ещё не умел косить, и тебя на другой день не поднимали так рано, но ты просыпался чуть свет, надевал штаны и бежал по ещё непросохшему следу. Солнце начинало выползать над лесом, обещая хороший день, и косари не отдыхали на длинном прогоне, на ручке, и только дойдя до леса, каждый доставал брусок и, воткнув литовище в землю, пучком травы вытирал мокрый металл. Потом одной рукой осторожно, как бритву, брал косу снаружи за самое жало, другой аккуратно обихаживал блестящее лезвие с обеих сторон.

Ещё из того времени помнился суп с бараниной, дома такой не варили, а тут картошка, лук и куски свежего мяса.

Изба была срублена добрая, мох в пазах слежался, был толщиной в палец, изнутри избы аккуратно срезан, а бревна отполированы до блеска. Были широкие нары и полати. Небольшая русская печь, сбита дедом Максимом из сырой глины, в ненастье и непогодь грела, тут же варили в ведёрных чугунках еду для всех работников, пекли на горячем поду плоские ржаные булки. Дед Максим говорил, что работнику надо ржаной хлеб потреблять, это на гулянке можно ситным баловаться. Чуть в стороне баня по-чёрному, просторная, чистая, потому что сёстры после каждой топки промывали стены с песком. Тут же навес для инвентаря, ясли для лошадей. В стороне колодец глубокий и вода чуть солоноватая. Отец посыкался перекопать колодец в другом месте, дед отсоветовал:

– Соль в водице, сынок, никому не повредит. Если хочешь знать, нас в армии специально солью кормили, ложку с утра сглотил, и весь день сухой и тяги к питью нет. Соль и скотине полезительна, гляди, как лошадь пьёт, бадью без отрыва. И корове надо соль давать, говорил один грамотный, что есть такая соль каменная, корова лижет, и молока больше. Не тронь, пусть стоит.

...Деревню на пути ты обошёл стороной, чем меньше видят, тем спокойней. К полудню утомился, отвязал лыжи, утрамбовал место вокруг ещё довоенного пенька. Хлеб и луковица не замерзли, пожевал, иногда прихватывая морозный снег. Сидеть долго не рискнул, по фронту знал: если усталый присел, можешь и не встать. Нацепил лыжи, вышел на санный след. В голове всё крутилось: о чём говорить с Филькой, о чём просить? Чтоб мать пожалел? Чтобы семью не позорил? А это Фильке надо? Ведь он три года уже покойником живёт.

К Бугровскому кордону вышел к вечеру, зло, остервенело, с хрипом залаяли собаки, мужик в меховой безрукавке, видно, со скотиной управлялся, вышел из тёплой стайки.

– Кого нелёгкая на ночь глядя? – сурово спросил.

Ты тогда подошёл поближе и через высокое прясло сказал почти шёпотом:

– К брательнику я, к Фильке, а сам буду Лаврентий, Акимушкины мы.

Мужик смутился, но ненадолго:

– Брательник твой ко мне в гости уезжал или как? У меня таких друзей нету, так что, мил человек, иди со Христом, а то кобелей спущу.

Ты тогда тихо сказал от усталости или от безысходности:

– Филька у тебя с начала войны живет, нам цыган сказал, который тебе сахар привозил.

Мужик взревел:

– Если не уйдёшь, спущу собак, а и уйдёшь, дак забудь, что я есть. А цыгана твоего к утру жизни решу, чтоб без свидетелей. Убирайся!

И тут ты услышал знакомый голос, родной, можно сказать:

– Обожди, Кузьмич, это в самом деле брат мой, но он безвредный, голову ему нарушили фашисты, инвалид, хоть чего пусть плетёт – веры ему не будет. Это я от надёжных людей знаю.

Хозяин выматерился:



– Смотри, Филька, ежели что – я тебя не знаю, прибился, работал, лишнего не позволял. Я вывернусь, про себя подумай.

Филипп отошел в сторону и открыл воротца:

– Со свиданьем, брательник. Проходи вон в ту избушку, мы скоро управимся, поговорим.

Ты чиркнул спичку и снял стекло с маленькой лампы, зажгёт фитиль. В избушке тепло, но жильём не пахнет, всё пропитано табаком и ещё чем-то, чему ты не знал названия. Небеленые стены и грязный пол наводили тоску, но ты устал, присел на братов топчан и уснул. Проснулся от стука двери и ворвавшегося холодного воздуха.

Филька сильно исхудал, до войны был даже выше и в плечах шире, лицо сбежалось, сморщилось, глаза сухие, острые, злые. Они и до того добрыми не были, дед Максим всё удивлялся, в кого это Филиппка такой уродился. Молча поставил на плиту чайник и подкинул пару полешек дров, сел на табуретку супротив топчана:

– Ищут меня дома? – спросил безразлично.

Ты встал с топчана:

– При мне не бывали, но мать говорит, что чуть не каждый месяц.

– Мать-то как?

– Плохо. Все ревёт, да и жрать нечего. Фрол и Кузьма всё служат, девки в замуж повыскакивали. Вдвоём мы. А ты как? – зачем спрашивал, и сам себе не объяснил бы. Чего тут неясного? Худо Фильке, и без слов понятно.

Филька оторвал клочок газеты, засыпал круто рубленным самосадам, от печного угля прикурил, вонючий дым заполнил пространство.

– Если бы, Лаврик, мне до смерти так жить, то лучшего и не надо. Хозяин кормит вволю, бабу привозит, банька есть. Тоскливо, конечно, но говорю, что жить можно. Но эти сволочи и тут роют, с осени трижды приезжали, едва успеваю спрятаться.

Ты удивился:

– А куда тут скрыться, братка, ведь кругом лес, все следы пишет.

Филя засмеялся, выпустил густой дым, ответил:

– Что лес? Вон, в подпол сунуть, они дверь откроют, нюхнут и обратно. Значит, нет у них никакой наводки, так, в порядке надзора. Ты думаешь, я один такой? Да тысячи!

Ты не подумал и сказал невпопад:

– В деревне ты один, да и не слышно в округе, всё больше поубивали да покалечили.

– Вот! – Филька вскочил. – Вот и ответ: покалечили да поугробили. Я только в одну атаку сбежал, и мне на всю жизнь хватит. На нас танки с автоматчиками, а у меня винтовка и семь патронов. Упал в яму от снаряда, а он, сука, комиссаришко, меня наганом оттуда, мол, вперёд, за родину, за Сталина. Я его и шлёпнул. А когда всё успокоилось, подался в сторону, думаю, может, повезёт, на немцев наравусь. Нихрена подобного, кругом комиссары. Я, Лавруша, полгода до дома добирался, а сюда подался, потому что мы с Кузьмичём до войны вместе баловались, магазины брали, кассиров глупых.

– Убивали, что ли?

Филя опять засмеялся, вроде как успокоил:

– Нет, слёзы вытирали и домой отводили. Дурной ты, что ли? Я только для сельсовета справку добывал, что на производстве вкалываю.

Тебе стало жутко, перевёл разговор на другое:

– Робишь тут чего?

Брат сразу согласился на перемену:

– Всё делаю, иногда со злости ухожу в лес, дрова рублю. Пилу себе изготовил с одной ручкой, типа лучковой. А так по двору, у хозяина скота полно, спать некогда.

Ты всё искал, как сказать о главном, для чего и пришёл, помялся, спросил осторожно:

– А думы? Думы у тебя бывают?

Филя вскинул голову:

– Об чём? Об матери иногда вспомню, о доме. А так – какие думы?

Ты обрадовался, что брату интересно об этом говорить, поспешил с пояснением:

– Жить-то как, Филя? Дале-то у тебя ничего же не видать. Так и будешь?

Филя вскочил, схватил тебя под горлом за широкую матерью связанную кофту:

– А ты не предложение ли пришёл мне сделать от советской власти, чтобы я обналичился, а они потом меня принародно хлопнули? Ты лягавых с собой не привёл?

Ты едва выпростался из грубой хватки, откашлялся:

– Братка, у меня полчерепа чужого, мозги почти наголе, хватай поаккуратней. Никого я не привёл, никто и не знает, где я. А думы у тебя должны быть, не может человек без дум. Тем больше, что грех на тебе.

Брат опять поднял на тебя удивлённые глаза:

– Какой?

Ты знал только один:

– Человека того убил в воронке.

Филя хохотнул:

– Дак я и до того убивал. И что теперь? В монастырь идти, грехи замаливать? А нашего брата тысячами положили под фашиста – это как?

Надо брату объяснить, чтобы совестно ему стало, а вот как сказать то, что самому ясно до ниточки?

– Это никак, Филя, это выше нашего ума дело, а тут ты, вот, живой человек, убивал раньше – всё бы искупилось войной, а ты смотался. Отец с братом на фронте, а ты сбёг. Это как? Получатся, что отца предал, брата.

Филя опять невесело хохотнул:

– Прибавь ещё, Лаврик, что родину предал. Прибавь. Тебе бы в комиссары податься, в партию вступить, гонял бы нашего брата в атаку, а ты череп свой снял за советскую власть.

Ты поправил на голове вязаную шапку, которую надевал под большую, из собачьей шкуры. Молчал.

Филя нарушил тишину:

– Посветуй, братан, раз пришёл в такую даль, что мне делать, вот как брат брату – посоветувай.

Ты не услышал в просьбе брата ничего опасного и сказал тихо:

– Идти с виновной головой в органы, отробишь на лесоповале, а не на этого бирюка, и возвращёшься.

Что-то тяжёлое и тёмное упало прямо на твоё лицо, ты свалился на топчан и затих. Кузьмич, всё время стоящий под дверью, вскочил в избушку:

– Убил, что ли?

Фильку колотило:

– Не вынес, ударил, да, видно, шибко. Прислушайся, дышит?

Кузьмич наклонился над топчаном:

– Здышет. И куда теперь с ним? По мне – в сани и в лес. Кто искать станет?

Филька сидел у открытой печки и жадно курил:

– Не дам убивать. Очухается – пушай домой идёт, слово возьму, что не продаст.

Кузьмич засмеялся:

– Слово он возьмет! А если сдаст? Обоим крышка, Филя! Если все наши поскакушки поднимут, то и судить не будут, сразу шлёпнут.

Вот это, что сказал Филя, ты уже слышал:

– Я, Кузьмич, смерти уже не боюсь, я жизни боюсь. А Лаврик не скажет, он у нас в семье самый чистенький был.

Ты пошевелился и хотел встать, Филя поддержал под мышки, умыл над поганым ведром.

– Чай будешь?

Ты выпил кружку сладкого чая с белым хлебом, намазанным маслом, и лёг спать. Филя примостился с краю, подставив табуретку, чтобы не свалиться.

Утром вы вместе вышли на дорогу, ты в охалке нёс лыжи, Филя шёл молча, дымя самокруткой. Как хотелось заговорить о главном, о жизни, о родном доме. Филя ведь тоже могилы отца не видел, сели бы за стол, налили б из кринки бражки, выпили, не чокаясь, как на фронте над могилами друзей-товарищей, если позволяла обстановка. Потом бы женили Филю, вон сколько свободных баб, да хороших, работающих, здоровых. И матери бы полегче... Ты забыл тогда, что брательнику надо вперёд ответ держать за побег свой, а уж потом... Хорошо, что вслух не сказал.

– Отсюда один пойдёшь. Никому ни слова, Лавруша, я за тебя поручился перед Кузьмичом, он ночью цыгана того зарезал. А тебя я не дал. Даже матери молчок. Поревёт и забудет.

Он развернулся и пошёл, не оглядываясь. Ты нацепил лыжи и свернул в лес. Декабрь, скоро Рождество, большой был праздник. Почему-то тебе всё больше из детства приятное вспоминалось. Наверно, потому, что в иные годы и не было ничего доброго, сладкопамятного.

Это ещё в единоличные времена было, Акимушкины пахали на своих наделах тридцать десятин пашни, ты совсем малым был, без штанов лазил, следом за отцом или за дедом ходил свежей бороздой. Земля мягкая, жирная, плужок её отвалит в сторонку, основание ровное и плотненькое, детская ножонка только влажный следок оставляет. Ты любил присесть на нетронутую твердь, ноги в пахоту засунуть и ждать, когда отец или дед круг сделают и нарочно грубым окриком тебя сшевелят, мол, бездельник, шёл бы лучше сорок зорить.

Ты уползал иногда на середину пахоты, чтобы никому не мешать, разгребал осторожно потревоженную землю, выбирал росточки беленькие, складывал в рубаху, а ещё выискивал червяков, и простых, которых на рыбалку копали за огородами, и толстых да жирных, противных. Отец давить их не велел, говорил, что они едят вредных для хлеба червяков и мошек. А корешки потом раскладывал на крылечке при избушке, получалось, что на пашне рядом живут много всяких трав, хотя хлеб ещё не сеяли. Отец выбирал минутку, притулится, бывало, на ступеньке, ноги вытянет, и станет тебе говорить:

– Вот это, Лавруша, все для человека травы ненужные, а для пшенички и проса вредные, они хлебу расти мешают.

Вечером, когда уже укладывались спать, дедушка Максим после молитвы прилёт с тобой рядом и шепнул:

– Завтре не проспи, за бороной стану учить ходить.

– На Пегухе?

– Хошь – Пегуху запрягём, тутака на всё наша воля. Отцу я уж сказал, он согласен, что пора тебя к делу приучать.

Вот нехитрое вроде ремесло – лошадь в постромках тащит лёгкую боронку, а ты шагай сзади вприпрыжку, потому что шагом не успеть за Пегухой, мал ещё, ножки короткие. Шагай и вожжиной поправляй, если след со следом не совпадают, да на развороте следи, чтобы борона не перевернулась. А если набились палки или огарки пеньков, то борону следно перевернуть, а мусор отбросить подале от пашни. Отец потом специально проедет с телегой, соберёт. Нехитрое, а к обеду набегался, в глазах метлячки. Дед Максим боронил рядом на паре лошадей, Пегуху спутал и пустил в лесок, тебя умыл у колодца, посадил на колени, пока сестра кашу с бараниной доваривала.

– Пристал, работник? Ничего, своя работа не тянет. Это боронил бы ты хозяйское поле, чужое, там совсем другое на душе.

– А где это – на душе? – спросил ты, едва слыша свой голос.

– На душе – это, сынок, как во храме стоишь и сердце твоё ликует, следно, душа радуется. А где она и как на неё глянуть – то не дано.

А ты уж и не слышал, спал, аж всхрапывал.

– Девки, работнику каши оставьте, он, надо думать, крепко промялся, исть запросит.

То было по весне. Потом дружно сеяли, нося на опоясках полупудовые лукошки с отборным, ровным, восковым, освященным семенем, тут же боронили и протаскивали парой коней гладкое бревно, оно катилось в свободных кованных кольцах на торцах и прижимало взрыхлённую землю. Ты вместе со всеми радовался всходам, дед Максим в такие дни с поля не шёл, молился и радовался, что хлеба хорошо растут, после июньских дождей оправдываясь за робкие всходы густой, крепенькой, многосемянной из одного гнезда метёлкой стеблей, а после на каждом образовался колос, зацвёл, зазеленел, заобещал. Только дед Максим отца остерегал от высоких надежд: всё в руках Божьих, вот сейчас помочит чуть для налива, потом будем сухую погоду молить, с ярким солнцем, горячим, прямым, чтоб без поволоки на небе, зёрнышку для налива сухость и свет надобны. Всю пашню пройдёшь ты с дедом, и пшеничку проверите, и рожь, она первой под серп подойдет, потому как озимая. Дальше греча, просо, подсолнухи, овёс, ячмень – всего понемногу, и безо всего нельзя. Пшеничку на помол и на ярмонку, овёс лошадям, гречу и просо на крупорушку к дяде Серафиму, подсолнухи желубить всей семьей и на давилню, оттуда масло привезут в корчагах. Приятно его подсолить и

макать потом в блюдо теплой картошкой или даже хлебушком. Иной раз помятое семечко подцепишь, обрадуешься.

Тебе повеселело от этих воспоминаний, стало затягивать в то далёкое теперь уже бытие, в котором столько было щемящего грудь и стесняющего дыханье. Той же осенью дед Максим поставил тебя к плугу. Пегуха уже не стригла ушами, кося глаз на незнакомого погонялу, помнила, видно, весеннюю бороньбу. Дед сам прошёл первую борозду, ловко развернул плужок и позвал:

– Айда, Лавруша, берись оберучь за кичиги, держи плуг ровно, а я Пегуху поведу тихонько.

Ты и сейчас помнишь, как высоко взлетела душа, когда первый пласт вспаханной тобой земли легонько отвалился в сторону, освободив для пахаря и выровняв пашенное основание. Ты легко побежал за плугом, держась за кичиги, грачи, всегдашние созерцатели пахаря, деловито проходили бороздой, будто проверяя, сколь верно пашет новый работник. Иногда они шумно обсуждали что-то, и это тоже было музыкой свободной жизни. В конце гона дед остановил лошадь:

– Ну, пахарь, как тебе борозда? На всю жизнь запомни этот день, ласковой да сердешной. Первая в жизни своя борозда. На своей земле, матери-кормилице. А на чужой – ничто не в радость, одна усталость. Ты же мужик, напрок будешь сам пахать, я в твои лета так же начинал, только у нас с отцом была соха деревянная, тоже ничего, управлялись. И борозду свою первую помню. Потом женим тебя, ну, я не доживу, а отец тебе отведёт и пашню, и покосы, станешь хозяин, а когда человек сам себе хозяин – запомни, Лавруша, он ни перед кем шапку не ломат, окромя Господа.

Дед Максим умер тихонько, вечером зыбку качал с младшеньким, а утром сноха зовёт его первым блины есть, а он с полатей и голоса не подаёт. Хватили, а дед уж холодный. Отец тогда сильно в горе впал, все бабы выли, а ты не мог в толк взять, почему дед Максим, ещё вчера учивший правильно держать пилу-ножовку и рубанок, сегодня лежит на спине, молчит и сурово смотрит из-под медных пятак на глазах.

...Ты остановился, смахнул неожиданную слезу, присел на буреломную лесину. Пожевал хлеб с салом от Фили, отдохнул и снова на лыжи. Уже темнелось, когда вышел на знакомые места, лыжи пошли ходко, усталость пропала. Дома поставил лыжи под сарай, щепой оскоблил снег с пимов, вошёл в избу.

– Тебя где носило двадни? Я уж испужалась, что заблудился в лесу. Поймал чего? Или как на простой?

– Порожняком, мама, нету зайца.

– Ладно, пожуй картошки да ложись спать. Тебе велено утре в район добираться, в военкомат на проверку. Вон гумага лежит.

Достал из кармана куфайки остатки сала, начал жевать с тёплой картошкой, а мать в куте онемело на тебя смотрит. Как ты того не подумал, что негде тебе в лесу сала взять, откуда оно у тебя? Мать пальцем тычет в стол, а сказать не может, свело всю. Ты вскочил, подхватил мать, посадил на лавку.

– У Фили был на кордоне, жив он и здоров, кланяться тебе велел.

– А дале-то как? Куда дале-то? Так и не увижу его, родную мою кровиночку. Всю он меня изматал, всё сердчишко моё изорвал, все волосёшки я, ревуци, повытянула из головёнки, дак хоть перед смертью поглядеть на него. Самый злосчастный и самый что ни на есть больной для сердца моего, Господи!

Охвати, Лавруша, больную свою голову руками, сдави, сожми, стисни, пусть мозги из последних сил соберутся в одну точку, чтобы понять, почему всё так получилось. Взял ты в руки ту бумагу, повертел, положил на божничку, чтоб знать, где искать. А то кошка заиграет куда-нибудь в подполье. Залез на полати, ткнулся в давно несвежую постель, а Филя с ума не идёт. Надо его вернуть домой, тогда всё на место встанет. Тогда и погибель отца станет понятна, и что тебя изувечило – можно принять, что братовья до сих пор лямку тянут в чужих землях – пускай, если это так надо. А Филька? Таскать говно у этого бандита? Ведь сказал же Филя, что цыгана того зарезал ночью. Он и брата может так запластнуть, чтобы следы отвести. И Филька измучился весь, ты видел, душа его вся истерзана, она хочет к праведному прибиться, а он боится. Ты это сразу заметил, что он смерти боится, жить хочет, он ни разу не сказал, что перед народом ему будет плохо, мутно, совестно, стыдно, страшно. Эка ему душу-то извернуло, она другой стороной наружу, испоганенной, изруганной, проклятой. А ему только это надо, чтобы жить, дышать, жрать, бабу вот ему хозяин привозит. Он ещё тогда,

в первом бою, в воронке, предъявил своё право жить, как хочет. Да нет, раньше, просто никто про это не знал, как они с Кузьмичом разбойничали. Ты вспомни, точно, доходили слухи, что грабят и убивают в городе, не Филька ли с Кузьмичом? Он же сам признал, что убивал. Только, вроде, сон накатит – опять брат на уме, опять думка. Так до утра и промучился.

Утром сбегал в сельсовет, сказали, что четверых инвалидов отправят на советской лошадке в район, тут недалеко, вёрст пятнадцать. Прибежал за тулупчиком, от деда Максима остался, моль изрядно почикала, но кой-чего осталось, прикрыться можно. Ехали посменно, пара сидит в санях, пара сзади рысью, потом меняются. Так всегда ездили в район, как новая власть стала, и своих коней лишились, а раньше, даже ты помнишь, отец запрягал иноходца в кошёвку плетёную, дед Максим и плёл, кружевная была, чисто венчальная накидка на невесте. Вперёд ветра прибегали в волость, отец с матерью степенно обходили лавки, а ты сидел в кошёвке, закинутый аж двумя тулупами... Толком повспоминать мужики мешали, спорят о чём-то, ругаются.

– Лаврентей, ты бабу-то свою забирать будешь? – вдруг вернул тебя в сознание Федька – Петра Хромого сын. Отцу его Петру Игнатьевичу ногу ещё японские пленные доктора в городе Артуре на дальнем океане отпилили, его сразу Хромым окрестили, а Федька так и прозывался – Петра Хромого сын. Федька ехидный, всё под шкуру лезет, а ты этого не любишь.

– Проснулся? Бабу-то будешь ворочать домой или так и благословишь чеботарю? Тогда хоть мага-рыч с него возьми, не дарма же ты столь сил на её положил.

Зря, не вовремя такой разговор, ты про другое думал, о Фроське не хотелось сейчас, да и вообще не на людях об этом надо бы, а самому с собой, душевно посоветоваться. Но от Федьки не отвяжешься, пришлось сказать:

– Надумаю – ворочу, а то можа и нет. Измену терпеть не могу, но, опять же, жена она мне венчанная.

– Во как! А ты ей муж, стало быть, на сору найденный, если она так тебя изменила? Ты хоть видел её?

Ты на второй день после возвращения специально утром к колодцу вышел, знал, что она с чеботарём живёт и в тот колодец каждое утро по воду должна приходиться, потому как корову держат, поить надо. В утреннем сумраке постоял в сторонке, она пришла, проворно черпанула две бадьи, перелила в ведёрки и коромысло вскинула. Куфайка на ней лёгкая, полушалок простенький, не застудилась бы. Лица почти не видно, но тело, видать, свою форму берёт, в бабу перешла, не то, что в первый год жизни – девчонка жиденькая, хворостинка, одной рукой охватывал. А на ласки падкая, не дождётсЯ, пока родители за стенкой укладутся, всего изомнёт, истискат, понадкусат во всех местах. Ты только хихикнешь от восторга душевного и её притулишь, мол, потерпи чуток, отец не спит, подкашливат.

Ты из письма матери знал, что только полгода и прожила невестка без мужа, стала погуливать вечерами, всё прикрывалась рукодельем у подружек, а потом обнаружилось, что приехал в деревню одинокий мужик, дали ему свободную избушку и стал он обутки ремонтировать. Писала, что городской, нерусской нации, зовут Самуил, а фамилию и вовсе не выговорить. Вот к нему и прибилась, собрала как-то вечером узелок с тряпьем и дверью стукнула. А чеботарь тот, писал ему верный друг Климка, по ранению раньше домой вернулся, писал, что чеботарь тот не из простых, снюхался с председателем, к нему районное начальство забегает, копейками не трясёт, в город ездит продовольствие закупать, он и Фроську пристроил в сельсовет бумаги перебирать...

– Видеть видел, только молчком, не могу пока разговаривать.

Федька оживился:

– Лаврик, не соври, баба твоя слух пустила, что не мужик ты, ну, мол, с головы повлияло на это дело. Дак правду она говорит или брешет?

Ты покраснел, вспомнил последнюю ночь в госпитале, мягкую, послушную, доступную медсестричку, ответил тихо:

– Откуль ей знать про то, нашла отговорку. А всё неправда, как был мужиком, так и остался.

– Во, а что-то не слышать, чтобы ты по молодухам... Лаврик, глянь круг себя, сколько баб свободных, вдовых, рады любого калеку приголубить. А молодняк? Женихов всех Гитлер обвенчал, а девки какие, Лаврик, – кровь с молоком. Ты почто не ходишь?

Кто-то из мужиков выпихнул болтуна из саней:

– Пробегишь, а то, вроде, в охоту входишь. Охолони!

Ты мог бы спасибо сказать тому человеку, уж больно неприятный разговор затеял Федька. Мать тоже на ушах виснет: ту сучку привести не вздумай, на порог лягу, не пушу. Женись, если сам себя сознаёшь, пенсию дают, правда, на работу нельзя, группа нерабочая, но всё равно можно что-то дополнительно. И баб называла вдовых, даже без детишек, и девок, которых он помнил ещё сопливыми, в последний сенокос они с грабельцами ходили, сено заскребали за копновозами. Так, лет по двенадцать. А теперь подросли, хоть и не нагуляешь жиров на военных харчах, но природа берёт свое, уже девки, правда, сухонькие все, лёгкие, и глаза грустные. Почему ты в клубе на глаза их смотрел, почему в них тоску увидел, может, и не было её, показалась? Нет, ходил потом к другу своему Климке, у него сестрёнка меньшая, как раз под восемнадцать, и подружки к ней собрались, кружева учились плести на подушки да на этажерки. Разговаривают о простом, а повернётся которая к тебе – холодные глаза, не девичье горе в них, а сродни вдовьему. Ты только потом, много позже, поймёшь, что видели девчонки впереди жизни свою безнадёгу, всю ровню их война уже сосватала и повенчала. Редко какой выпадет счастье, когда начнут демобилизовываться младшие возраста, остальные так и проживут одинокими безотказными в работе передовыми колхозницами, перебиваясь случайными встречами да редкими уворованными нетрезвыми гостеваниями чужих, женатых, немилых.

Сразу с саней и на комиссию, тебя провели к врачу, он осмотрел голову и прощупал вмятину. Сверху вниз заглянул в лицо:

– Болит?

– Кто? – невпопад переспросил ты, не про это думал.

– Голова, спрашиваю, болит?

Ты помолчал. Мать учила: соври, что весь чалпан разворачиват, жалобись, можа, пенсию добавят. Сказал:

– Когда есть об чем – болит.

Врач сел перед тобой на табуретку.

– Как прикажешь тебя понимать?

Ты стал объяснять, подошли послушать медсестра и офицер военкомата.

– Вот сейчас ей об чём болеть? Всё аккуратно, чисто, со мной по-людски. Правда, по дороге Федька – Петра Хромого сын – привязался, отчего жену свою не забираю, она, пока я по госпиталям таскался, к чеботарю ушла, но я не стал связываться. Подумаю и заберу, у меня сейчас не об этом душа страдат.

– А о чём, скажите?

Ты расположен был к душевному разговору, в деревне так не поговоришь:

– Брат у меня в бегах. Отца закопали где-то под Москвой, братовья всё ещё служат, а Филька с фронту сбёг и наделал горя.

Офицер насторожился:

– Так ты, Акимушкин, братом доводишься дезертиру Акимушкину? Что ты про него знаешь? Где он?

Ты сник, опустил голову.

– Ему бы покаяться прийти, столь миру погинуло, как жить после этого? И душа его просит, а тело супротив, ну, смерти боится, жить хочет. Хоть в прокляты, хоть отринутый, а чтобы жить, чтобы жрать было, чтобы бабу привозили.

Офицер крутым жестом остановил врача:

– Неужто и бабу?

– Да подлость это, я так думаю, но Филька не придет. С ним говорить надо, вот когда он поймёт, что нету такого права – жить без покаяния, да не в церкви, её уж нету, а людского прощения. Если поймёт – тогда ему отработать в шахтах или в лесу, сколь отведут, и можно в мир к людям возвратиться. Он же молодой, поди, только тридцать.

– А ты его убеждал?

– Пробовал, только я слаб, грамотёшки мало, всё понимаю, а высловить не умею.

– Слушай, Акимушкин, как тебя по имени-отчеству?

– Лаврентий Павлович.

Офицер аж вздрогнул:

– Ладно, оставим имя-отчество, не будем поминать всеу. Вот ты говоришь, Акимушкин, что не хватает у тебя грамоты и прочее. А если нам попросить грамотного человека, чтобы тот с ним, с Филиппом, побеседовал по душам, попытался убедить. Как ты думаешь, поможет это брата спасти?

Тут ты некстати вспомнил, как вы с Филькой неводили на Аркановом озере, ты по берегу шёл, крыло вёл, а Филька здоровый, сильный, поводок на себя намотнул и вплавь вдоль берега, сколько верёвка позволяла. Выплыл, стали тянуть, полную мотню припёрли рыбы – и караси, и шуки, и налимы. Налимов ты хотел выкинуть, дед Максим говорил, что они утопленников едят, а Филька смеялся: на Аркановом сто лет никто не тонул, чистый налим, бери в корзину. Приехали домой, мать весь вечер чистила рыбу да ворчала на сыновей, что задали работы. Она умела похвалить вот так, как будто ворчит...

Офицер тихонько потрепал тебя по щеке:

– Акимушкин, очнись, ты меня слышишь? Если хорошего, доброго человека направить к брату, согласится он выйти к людям и прощения попросить? Люди-то простят, правда, Акимушкин?

Ты подумал и возразил:

– Многие простят, а многие и нет, даже на меня косятся, у кого погибли мужики на войне, надо думать, и ему выскажут.

Офицер согласился:

– Конечно, выскажут, так это и ему облегчение, высказали – значит, простили, ведь так?

Тут ты согласился:

– Должно быть так.

Офицер осторожно предложил, даже за руку тебя взял:

– Можешь ты такого человека свести с братом? Только чтобы никто не знал. Можешь?

Ты подумал, что такой человек, грамотный, умный, может Фильку уговорить. Кивнул:

– Сведу, ради такого дела сведу, даже сам могу подсобить, брат меня жалеет из-за раны.

Офицер оживился, нервно ходил по комнате:

– Рана твоя пустяк, верно, доктор? Пенсию будешь получать в том же размере, может, даже увеличим, правда, доктор?

Доктор недоуменно посмотрел на него:

– Товарищ капитан, что такое Вы говорите? Человек болен!

Офицер повернулся к врачу и резко ткнулся лицом в его ухо:

– Заткнись, клизма ходячая, не суйся не в своё дело, поддакивай, когда просят. – И к тебе: – Может, тебе не стоит туда ехать, ведь далеко, да и холода.

Ты уже осмелел, раздухарился:

– Не озноблюсь, тут рядом, я на лыжах лесами за день дошёл.

Офицер наклонился к самому лицу:

– Дороги разве нет?

Ты улыбнулся: смешной вопрос задаёт капитан:

– На Бугровской-то кордон? Какая там дорога, так, киргизы иногда проезжают, но след есть.

Офицер встал, вытер пот с лица.

– Ладно, Акимушкин, поезжай домой, мы без тебя управимся.

Ты тоже встал, надел на голову вязаную шапочку:

– Да, товарищ капитан, там лесник злой, глядите, как бы не отказался пропустить. Он шибко людей чужих не любит. Одного цыгана даже зарезал за то, что он Филькино логово высказал полюбовнице своей, а та нам передала. Я-то откуда бы знал?

Офицер уже надел шинель, козырнул медичке, повернулся к тебе безразличным и брезгливым лицом:

– Езжай домой, Акимушкин, про наш разговор никому ни слова, и вы, товарищи очевидцы, тоже.

Широко пошёл к дверям, любуясь распахнутыми полами шерстяной чистенькой шинели и глянцевыми сапогами.

Расшевелил Федька ещё одну болячку в душе, заставил поговорить про Фросю, ты уже стал при мечать, что если об чём-то не думать, то и душа не болит. Вроде проклянется в памяти росточек, а ты его словно не заметил и мимо прошёл. Смотришь – и не вяжется больше, забылось. Нельзя

сказать, что он про Фросю не помнил. Письма она ему писала длинные, как пакеты, особисты даже приходили в расположение посмотреть на такого мужика, которому баба такие письма шлёт. Тебе и читать их прилюдно было неловко, уходил в укромное место, потому что Фрося с тоски, видно, описывала их ночи на сеновале в летнее время, потом как в шалаше жили на покосе, не уходили в избушку, как специально зимой она прикидывалась простудившейся и выпрашивалась ночевать на печку, а на твоё непонимание только жарко шепнула в ухо:

– Молчи, муженёк, потом поймёшь, потому что печка не скрипит.

А ведь она сама тебя выбрала, на сенокосе перед самой войной всё старалась поближе, нет-нет, да и скажет:

– Лавруша, а ты в любовь веришь? Вот что девка без парня сохнет и совсем на нет изводится?

Ты улыбался:

– Не знаю, вроде не видать таких.

– А ты присмотришь, Лавруша, раскрой глаза. Али я тебе не любя совсем? Ну, скажи, почему за мной парни гужом ходят, а ты даже не смотришь?

Ты опять улыбался:

– Как не смотрю, смотрю, но девка ты боевая, а я смирённый, мне тихую надо и послушную.

Вот после таких речей и обняла она тебя за последним стогом на Зыбунах, прижала к себе так, что не вздохнуть:

– Обними меня, Лаврик, прижми, никто нас не увидит, не бойся. А я послушная буду. Видишь, сама разделась, и тебя раздену, потому что люблю тихоню. Ой, Лавруша, всё, не могу, лови меня.

В тот вечер с луга вы пешком шли, потому что все уже закончили работу и уехали. После ужина с отцом вышли на крыльцо, отец заметил перемену, спросил:

– Ты чего маешься? Нагрешил где?

Удивился, как это отец догадался?

– Нет, тятя, хочу просить твоего и маминого благословения, чтобы жениться на Фроське Ванькиной. Ну, Пеленкова Ивана Петровича.

Отец молча курил, ты не вытерпел:

– Тятя, ты вроде не обрадовался?

Отец хмыкнул:

– Шибко радоваться причины нет, а подумать – да, есть причина. Мать её я знал с юности, блудливая была бабёнка, про девку ничего не скажу, не слежу, но по породе – путней жены из неё не выйдет.

Ты тогда насмелился:

– Тятя, надо сватов посылать, мы сёдни согрешили на лугу.

Отец даже не ойкнул:

– Я так и понял. Смотри, Лаврентий, тебе ещё на службу идти, я за ней следить не стану. Но и перечить тебе не буду, так и матери скажу. И вот что. У нас трижды никто не женился, выбрал – блюди, но позору не потерплю, выпорю обих и выпру. Вот весь сказ. А благословиться к матери иди, это дело по её части.

Сразу после записи в сельсовете сели за столы в большом подворье Акимушкиных. Попа с твоей шаловливой попадёркой власти прогнали, обосновался где-то в городе. Мать сказала, что надо искать и непременно венчаться, невенчаных Бог не терпит.

– Тогда почто он позволил Макарке Безбородихину с братвой нашу церкву разорить? Что ему мешало? – Отец после первого стакана осмелел. – Я лба не расшибал во храме, спасибо отцу моему Максиму Георгиевичу, он всё в храм и хоть как-то показывал нас Богу. Что церква плохого делала? Ровным счётом ничего. Почто Бог разрешил глумиться? Неправильно он сделал.

– Ладно, отец, благословляй молодых. – Она сунула ему в руки старую икону, Павел неумело перекрестил пару, они поцеловали край доски и гулянье началось. Фрося как села под белой вязаной фатой, так и не пошевелилась за весь вечер, ты тоже вёл себя смирно, бражку и самогонку не пил и есть ничего не хотелось. Фрося только раз наклонилась к нему:

– Скажи, Лавруша, куда молодых спать положат?

– Нечто я спрашивать стану? На смех же поднимут!

– Гляди, уложат меж пьяных гостей, не видать тебе брачной ночи.



– Не уложат. Тятя порядки знает.

Вам постелили в нарядно прибранной избушке на ограде, гости утянулись по домам, Фрося заставила мужа расстёгивать на спине крючки свадебного платья, лампы не зажигали, в темноте тело её матово светилось, а ты едва пособился с новой рубахой на железном замке. Упали на перину, Фрося легла тебе на грудь и сказала:

– Лавруша, я тебя любить буду изо всех сил, и ухаживать за тобой буду, как никакая другая баба. Запал ты мне в сердце, а я краёв счастья своего не вижу, так рада, так рада. Мне подружки завидуют, говорят, что ты хоть и тихоня, но спокойный и добрый, а ещё семья ваша работающая, и при колхозе вы не пропали. Я шибко тобой дорожить стану и детей тебе рожу, сколь хощь.

Через месяц отец посадил молодых и отвёз в большое село Ильинское, там церковь прикрыли, но попа не тронули, и он по договоренности крестил и венчал. Тут тоже клялись в верности и святости.

Эту её клятву ты вспоминал на фронте, когда читал письма жены и мучился от нахлынувших чувств. А потом вдруг – как взрыв у землянки, как ракета тёмной ночью, как танковый выстрел над головой – ушла Фрося к новому чеботарю. Ты тогда сильно растерялся, плакал, спирта кружку выпросил у старшины, проспался – того тошнее. Ты тогда по связи числился, тоже хорошего мало, но попросился в разведку. Лейтенант тебя отозвал в сторону, напрямую спросил, в чём дело. Ты признался. Лейтенант послал по всей форме в известном направлении и добавил, что ему в разведке только рогатых не хватало.

Солдаты ведь – разный народ, кто-то письма читал из собственной тоски, кто-то покуражиться, и вот нашёлся один такой, при вечернем разговоре вдруг спрашивает:

– Акимушкин, твоя жена ваши любовные утехы описывала, надо полагать, что она и сейчас этими же приёмами ублажает своего нового мужа, как ты думаешь?

На него цыкнули, но было поздно, ты схватил автомат и вскинул его в сторону обидчика, ладно, что пули верхом прошли. Из штаба батальона прибежал посыльный: что за стрельба? Объяснили, что обманулись в лазутчике, стрельнули, а его нет. Обошлось. Того говоруна ротный сбаврил куда-то на другой день, а с тобой сурово поговорил. Ты плакал.

– Товарищ капитан, как я без неё жить буду? Я ведь не балованный, верный, мне без неё никак нельзя.

– Успокойся, солдат, не ты первый, не ты последний. Хочешь, признаюсь тебе, что у меня месяц назад жена тоже замуж вышла, я её в Ташкент отправил войну пересидеть, а она нашла какого-то торгаша, прислала извинения, и на том точка. У тебя дети есть?

– Не было.

– А у меня двое, мальчик и девочка. Ну, что мне теперь, стреляться? А Родину защищать кто будет? Торгаши? Нет, брат, выкинь всё из головы, нам с тобой ещё до Берлина топать, так что спрячь глубоко в душу свои переживания, а то на первую же пулю налетишь. Она слабых ищет.

Ты хорошо усвоил наказ командира, про Фроську и вообще про деревенскую мирную жизнь старался не думать, всё вроде наладилось. А тут ещё старшина предложил заняться кухней. С первого дня ты понял, что это тебе ближе, душевнее, мирное, домашнее занятие, и вроде война уже в стороне, а рядом знакомо горит костёр или топится кухня, совсем как дома на двоерубе или на покосе.

Время к весне, ты взялся вывозить снег из ограды, а то начнёт таять и вся вода в погреб, а то и в подполье упадёт. Нашёл под сараем широкие санки, специально отец делал, чтобы воду в бочках и снег возить, выволоч заваленный всяким хламом короб, его ещё дед Максим плёл, прут к пруту, хоть воду заливай – не вытечет. Широкой снеговой лопатой начал складывать от самого пригона, вывозил на огород, так было заведено, чтобы снег растаял и землю напитал, тогда меньше придётся в жаркий июль таскать воду с Гумнов и поливать посаженные овощи, больше всего огурцы. А капуста-водохлёбка в конце картофельного огорода, у межи, под самой Гумняхой, её там и заливают прямо ведрами. Недолго и поробил, кто-то окликнул через заплот, ты лопату в снег воткнул, откинул калитку. Колхозный бригадир Митя Хитромудрый вышел из кошёвки. Митя на фронте быстро отстрадал, добыл какую-то бумажку, признали негодным и вернули руководить колхозным производством. Что за болезнь у Мити – никто не знал, правда, время от времени его кидало на землю, трясло и слюной брызгал в разные стороны, но всегда прилюдно, потому отваживались. Мужики в такую болезнь не верили, а ты верил, потому что посмотрелся в госпиталях всяких. Поздоровались.

– Ты, Лавруша, от труда освобожденный, про то я знаю, но ходячий, сам собой вроде ничего. Короче говоря, надо за овечками походить. Заболела Устинья Васильевна, а сейчас окот, глаз да глаз, жить надо в кошаре, а не только что. Лошадь тебе дам, сани, трудодень.

Ты усмехнулся про трудодень, ещё до войны писали в тетрадки учётчики, а по осени на эти папочки и выдать нечего было. И сейчас ничего не изменилось. Мать ходит за телятишками, кормить нечем, месячному телёнку солому пихают. Мать хоть и тихая, а высказала со слезами районному начальнику в хромовых сапогах, что у председателя выше крыши намётано лесное едовое сено, вот его бы телятам – враз ожили бы. А то колхозные задрищутся, председатель своих сам съест, а для плана опять ничего не останется. И почему мать так обеспокоила сдача мяса государству, ты тогда понять не мог, она вечером объяснила, что братовья твои за границами чем питаются? Тем, что мы пошлём, немцы и венгерцы кормить не будут, а если и сунут что, то обязательно отравят. Вот погляди, какие суждения у неграмотной бабы.

Утром её вызвал председатель, он не наш, присланный откуда-то, высокий, толстый, гимнастерка под ремнём и значок какой-то на груди. Долго молча смотрел, так и не признал, не видел раньше, потому что на ферме не бывал:

– Вот что, дорогая, ты высказывания против руководства не делай, я тут хозяин, ко мне и приходи, если что. Ещё раз узнаю, что поклёп возводишь на моё сено, выпру из колхоза. Всё. Работай.

Ты посмотрел на Митю:

– Овечек-то много?

– Три сотни.

– Молодняк гинет?

– Мрут, если просмотрели. Холод в кошаре.

– Холода овечка не боится, ей сухость надо и корма.

– Овса даю по случаю окота.

– Эх, Митрий Матвеич, до окота надо было давать, ты же должен знать!

– Откуль? У нас до колхоза только коровёнка и была.

Ты хотел сказать, что видел, сколько скота гоняют на водопой на Гумна его ребятишки, но не стал. В его дворе, мать сказывала, числится всё от тёщи, от брата с сестрой – неимущих, вот он и не облагается налогами за излишки.

– Твои-то овечки нормально окотились?

– Слушай, по двойне все. Удачный год. Так пойдёшь?

Ты ответил, что с матерью посоветуешься и, если согласится, то вечером на управу придёшь на овчарню. Мать отговаривать не стала, мол, думай сам, как тебе здоровье позволит, только сказала ещё, что работающего могут и пенсии лишить.

– Пушай, мне ягушек жалко, зачем они мёрзнуть будут?

В овчарне стоял сплошной овечий крик, отара кидалась из одного угла в другой, давя молодняк и суягных маток. Кое-как приглядевшись, ты увидел человека, несущего в куфайке двух малышей.

– Здравствуй, не разберу кто.

– Здоров будь, Лаврик. Не узнал? Савосиха я, соседка ваша. А ты как сюда?

– Бригадир послал. Холодно тут.

– Не успеваю ничего. Ты бери солому, в углу свалена, пройди вдоль стен, позатыкай, что можно.

Сколько охапок натаскал – со счёту сбился, сквозняка не стало. Сходил с верёвкой на сеновал, поискал сена помельче, три вязанки притащил – овечки накинудились. В нетопленной избушке нашла тётка Савосиха мешок овса, то ли утащить не успели, то ли получили, да никто не сказал. Лаврик расчистил от соломы середину, рассыпали овёс по кругу – разом овечки замолчали, жуют, хрумкают. Несколькими жердями отгородили угол с подветренной стороны, отбили суягных. В избушке печь разожгли, котёл снега набили, натаяли воды, дождались, пока согреется. Ведром носили в маленькие колоды – некоторые овечки пили.

– Лаврик, надо малышей собрать в избушку, пусть погреваются.

– А как потом они матерей найдут?

Савосиха выпрямилась, разогнула спину и в первый раз засмеялась:

– Мать-то? Да с разбегу! Кто же мать свою или ребёнка не признает? Разве что человек, а скотина – она ещё не забыла, что ей природой дано.

– Ну, чисто наш дедушка Максим судишь, – удивился ты. А она ответила:

– Лавруша, родно моё, твой дедушка Максим отцом мне доводится, да никто не знает про то. Прокопий-то Александрович маму в положении взял, перед алтарём просил назвать, кто наследил – так и не сказала. Он, правда, голубил меня, как свою, а мне мама только на смертном одре призналась.

– Отчего же дед не женился на ней?

– Ваши-то в видных людях были, а мы бедненькие, робить некому, вот и запретил. А дед твой, мама сказывала, сильно страдал, на исповеди слезьми плачет, а батюшке не признаётся, тот епитимьями мучил, даже от причастия отлучал, но отец не признался. Мне говорил потом, как маму схоронили, что не хотел её чернить. Люди-то ведь так ничего и не знают, и не всякий способен подняться, чтобы постигнуть. Вот всю жизнь друг дружку любили, а жили порознь. А в деревне – обогрени Бог на язык попасть – в петлю вгонят.

Всю ночь топили избушку, таскали сугных маток и малышей, утром председатель приехал, написал бумажку, чтобы со склада отпускали по центнеру отходов в день. Да и солнышко обогрело, ветер стих.

– Ты, Лавруша, пойдешь домой, поспи, а я тут прикорну. Придешь к вечеру.

А ты только хлеба взял да картошки кошёлку, опять на овчарню пошёл. Какая странная и загадочная жизнь, никто и сегодня не знает, что Савосиха тёткой мне родной доводится. Прожила с отцом своим рядом, а ни разу даже тятей не назвала, не знала даже, что отец. Вот ведь как! А теперь и мне легче будет жить, ещё одна родная душа рядом появилась.

– Тетка Савосиха, вот ты давеча говорила про деревню, что народ такой, и в петлю вгонят – не остановятся. Почему же так? Вот мы в семье ровно жили, ну, не сказать, что душа в душу, но особенно при дедушке Максиме – порядочек был. Мать и сестёр своих, и братьевъев почитаю. А деревня – она разве не семья? Вот случись, как в старые годы, да ты знаешь, когда большая вода пришла, как люди дружно спасались, пособляли друг дружке, тем и выжили. И дома потом совместно стали перетаскивать выше в гору. А случись – будет ли так?

Савосиха села на жердочку у яслей, с сожалением на тебя посмотрела. Что ей так бедно за тебя стало? Аж слезы на глазах.

– Лавруша, ты чисто твой дед, вот одно к одному. Лицом, правда, в бабку, она красавица была, да тебе, мужику, такого добра и не надо бы. Парень ты славный, толковый, угодливый, тяжело тебе будет на белом свете.

– Отчего тяжело, тётка Савосиха?

Она долго молчала, согрешившиеся овечки похрумкивали ячменём, такая благодать разлилась по твоей душе, что ты не удержался:

– А ведь Господь вот в такой же овчарне, в хлеву, вот в таких яслях народился. Ведь правда?

Савосиха кивнула:

– Так писано, только, сынок, случилось это, слава Богу, задолго до колхозов, да и в другой стороне, где и холодов-то не бывает. В наших краях он закоченел бы к утру, когда волхвы пришли с дарами. Да и не те мы люди сегодня, чтобы Господа принимать.

– Не те – почему?

– Лаврик, ты меня пытаешь, а я не знаю, о чём. Почему люди меняются всё время к худшему? Ты про большую воду говорил. Отвечу: случись сейчас – никто бы не стал друг дружке помогать, каждый своё потащит.

Почему ты вдруг вспомнил, как завязывалась колхозная жизнь? Поздним вечером в дом пришёл дядя Савелий Гиричев, родной брат мамы. Он и раньше бывал у вас, тебя крестил, крёстный отец, а при новой власти вернулся с Гражданской красным командиром, большевиком. Отец тоже воевал на германской, только в красные не пошёл, а в последний поход из дома мобилизовали к Колчаку. Из-под Омска они сбежали чуть не всей деревней, чубов им порвали, но никого не посадили. А в соседних деревнях, говорили, человека по три забрали и насовсем, то ли к стенкам, то ли где леса до сих пор валят. Ты уже помнишь те зимние вечера, когда родственники сидели за одним столом, пили самогонку из одной кринки, и спорили. Ты лежал на полатах за занавеской.

– Паша, я тебя всегда почитал за умного и толкового, как же ты не понял советской власти и от-

вернулся? Тебя революция где захватила? Ты пошто винтовку после замирения бросил и вернулся домой? Почему не выслушал большевиков и не перешёл к ним?

– Объясню, Сава, всё по порядку. Ты хоть и секретарь партячейки, но вдумчиво слушай. Войной я к тому времени был сытый по самое горло, а тут замирение и свобода. Куда должен стремиться нормальный мужик? К семье, домой. А большевики – скажу тебе честно, Сава, я их не различал, вот те крест. Там кого только не было, акромя большевиков. Вот тупая Рассея: те мужики, которы земли не имели и робыли на какого-то помещика, те твоим большевикам «уря» кричали. А как они могли меня землёй заманить, если у меня её вволю, сколь могу, столь и пашу? Ну, скажи, мог разумный сибиряк сказать: «Спасибо, товарищ большевичок, что разрешил мне на своей земле пахать и сеять!». Не мог. И я понял, что с этими ребятами нам не сговориться.

Савелий Платонович слушал нервно, несколько раз посылался остановить кума, но договорить дал.

– Ладно, советская власть тебе, как и другим заблудшим, измену простила, и что с Колчаком связались, тоже сделала вид, что ничего такого... Но седни ты видишь перемены, мы разворачиваемся к новой жизни, народ избирает советы, в партию люди вступают, а ты в углу сидишь, как сыч. Я только тебе скажу, потому как родство и уважаю. Будет ещё одна кампания, от которой тебе не укрыться безразличием. Будем создавать колхозы.

– Чего-то слышал.

– Слышал он! Да это ещё одна революция, только в деревне. Ты посмотри, мы с тобой за столом сидим, мясо с картохой, сало солёное шматками, хлеб серый добрый. Поди, и сеянка есть? Есть в сусеке? А страна голодает. Почему?

– Потому что не робит, Сава. Вот перестань я каждый день во двор выходить и со своими ребятами и девками со скотиной управляться, назём складывать, сено намётывать, воду возить чаном – через неделю скотина на колени падёт, а потом сдохнет. И я стану голодный. Пролетарием стану. Чтобы жить, Сава, надо робить, ты же крестьянин, ты же всё понимать должен.

Савелий возмутился, встал над столом с полным стаканом:

– Ишь ты! А пролетарий? У него же ничего в руках! Заводы в разрухе, угля нет, железа нет. Чтобы это всё запустить, нужно время и нужны огромные усилия!

– Сава, советска власть рулит уж столько лет, сколь же ещё надо время, чтобы до верхов дошло, что надо не шашкой махать, а молотом? Не выбуривай на меня, я правду говорю. И что мужики в двадцать первом поднялись, тоже ваша заслуга. Мыслимое дело – в мой амбар загнать чувашей моим же кулём зерно выгрести? Жалко, конечно, ребят, что с той, что с другой стороны, тыщи погинули ни за что, только это вина власти.

Савелий сел, в упор глянул на своего родственника:

– Паша, тогда столица без прокорма оставалась, товарищ Ленин голодал вместе со всеми. Ты чего лыбишься, ты чего ухмыльнулся? Не веришь?

Отец засмеялся:

– Конечно, не верю. Я по своим вождам посмотрю, по мелким – эта порода себя в расход не пустит, мимо рта не пронесёт. Насчёт народа ещё посмотрят... Я вот своим умишком кумекаю: на Россию-то им насрать, прости Господи, не за столом сказано, у них интересы поболее будут. Разграбят Россию и нас сдадут германцам или англичанам.

Савелий снисходительно улыбнулся:

– Какие интересы, Павел Максимович, об чём ты? Для Ленина Россия – это всё. А по хлебу – в самое дыхло бьёшь. Но ведь не было в двадцать первом году другого пути, кроме как взять хлеб у сибирского мужика и накормить город, пролетариат.

Отец сильно ударил по столу, блюдо с капустой и алюминиевые чашки с мясом и салом подпрыгнули:

– Ладно, а пролетариат в это время чем занимался? Марксизму изучал? Почему надо сразу в морду? Разве нельзя было договориться по-доброму? Мы тогда предлагали на сходах: хлеб дадим, но дайте нам железо, мануфактуру, плуг, карасин. Обмен сделать, я тебе, ты мне. Что, пошла на это власть? Мы кой-какой хлеб увезли на пункты, и что? В самых больших кабинетах в Ишиме нас на х... посылали. Нихрена нам на тот хлеб не дали, не пошли на обмен, хлеб даже в зачёт налога не записали! И теперь то же самое. Я сплю стоя, вся семья с апреля по октябрь в поле, да до Рождества

на гумнах снопы молотим. Скажи, всякий так? Да нет, не скажешь. В твоей партячке есть хоть один порядочный хозяин? Нету! И не будет! И тогда вы пойдёте зорить наши гнёзда, нас врагами объявите. А иначе у советской власти ничего не получится, только на разорённом самостоятельном крестьянине будете создавать свои колхозы.

Савелий икнул и подытожил:

– Значит, в колхоз ты не пойдёшь?

– А зачем, Сава? Чтобы видеть, как моих коней гробят, как моих коров бьют кольём? Не пойду.

Савелий поднял указательный палец:

– Но ведь всё заберём.

Отец не понял:

– Всё – это как?

Савелий пояснил кратко:

– Скот, это ты правильно сказал, инвентарь весь, землю. Двор пустой останется. Дом у тебя большой, учтут власти, что семья большая, возможно, оставят. Вот и всё.

– А меня куда?

Савелий Платонович напрягся, жилы вздулись поперек лба:

– Вот за этим я к тебе и пришёл. Будет проводиться раскулачивание, ты попал в списки, хотя раб-отников никогда не держал, всё своей семьёй. Могут судом сослать на Север или на Урал.

Отец встал и картинно поклонился куму:

– Любо! Ну, кум, спасибо!

Тот взмахом руки осадил его:

– Вот что, Павел Максимович, я не просто так с тобой этот разговор веду. Мы с тобой кумовья и больше того – товарищи. Потому всё открываю, хотя права такого не имею и поступаю против партийности. Но учитываю, что ты труженик честный, будешь и колхозу полезный, беру грех на душу. В самое короткое время скот сбудь, что есть доброе из хозяйства – сбудь. Бери твёрдой валютой, только золотом. Хоть товарищ Ленин и писал, что мы туалеты будем золотом обивать или деньгами обклеивать, до этого, похоже, ещё далеко. Зерно сбудь, не тяни. Чтобы ничего лишнего не было. Для вида бычка заколи, пару баранов, да свози на поганник дня три кряду, чтобы народ видел, мол, дохнет скотина. Обрати ночью, чтоб ни одна душа. Я тебя из списков постараюсь выдернуть, на очередной ячейке мои доверенные люди тебя защитят. А в колхоз вступишь, то моё условие. Ссылка, Паша, это верная гибель, насколько знаю, другие последствия даже не рассматриваются.

Ты на полатах всё слышал и ничего не понял, только когда тятя голову уронил на грудь и тяжелые слезины стекли на рубаху, ты испугался и накрылся дедушкиным тулупом. Стало страшно и пусто. Ты запомнил новое слово: колхоз.

Утром прибежала исполнитель из сельсовета, молодая усталая женщина, не проходя в передний угол, сунула матери бумажку и велела расписаться.

– Лавруша, черкни там, что надо, – шепнула она и с бумажкой пошла в горницу, где на божничке лежали её очки, в которых она шила или читала газету.

– Мама, давай я прочитаю, пока ты найдёшь.

– Уже нашла, да и бумага эта вроде как мне. «Гражданке Акимушкиной А. И. предписывается незамедлительно прибыть в райотдел милиции для очной ставки с гражданином, выдающим себя за Акимушкина Филиппа Павловича, 1912 года рождения, самовольно оставившего воинскую часть во время боевых действий в сентябре 1941 года и скрывавшегося от государственных органов до 28 декабря 1947 года».

Она села на кровать, руки тряслись, бумажка вывалилась на пол, ты поднял её и ещё раз прочитал. На душе стало светло и радостно:

– Мама, не плачь, не расстраивайся, Филя сдался властям, он столь лет отмучился, ему зачтётся, и люди простят, мне капитан говорил.

Мама не сразу тебя услышала, а услышав, не сразу поняла:

– Какой капитан, Лаврик, ты кому сказал про Филю?

Ах, как ты был раздосадован, что она не может понять главного: Филя вышел к людям, он рас-кается и будет прощён, и станет жить вместе с нами, помогать, а мы потом женим его. Он смотрел в глаза матери и вместо радости видел в них ужас, мёртвый, застывший, холодный.

– Лавруша, ты кому сказал про Филю? Вспомни, кому ты сказал, кто пытал из тебя эту тайну?

Ты уже начал сердиться, что мама привязалась к такому пустяку, кому сказал.

– Мама, успокойся, мы говорили с хорошим человеком, он сразу согласился со мной, что с Филей надо хорошо поговорить, ещё можно его спасти, и у него есть такой человек. Видно, они съездили на Бугровской кордон и уговорили Филю.

Мать почему-то встала, повернулась к иконам в углу и тихо сказала:

– Господи, прости ему, он не знает, что творит.

Тебя это напугало, ведь мать точно говорит про тебя. Что ты не так сделал? Да нет же, всё так и должно быть, надо только ехать, подтвердить, что это брательник, и может даже забрать его домой. Ты, видимо, сказал это вслух, потому что мама велела быстро собираться, взять дедов тулуп и бежать в сельсовет. Анна Ивановна поднялась наверх, ты остался внизу у крутой лестницы. Сельсоветский конюх Пантюхин по кличке Гальян, щуплый и невысокого роста, уже запряг в широкие сани карего мерина.

– Ты тоже поедешь? – спросил он.

– Поеду, брат всё-таки.

Мать вышла в слезах, всю дорогу ехали молча. Гальян подвернул к милиции, примотнул вожжи к коновязи:

– Идите к дежурному, я тут буду.

Мать показала бумажку, дежурный кого-то крикнул, вышел молодой человек в форме, кивнул Анне Ивановне, чтобы шла за ним, ты тоже вроде собрался, но хозяин осадил:

– Не требуется.

Почему тебе вдруг стало весело, вроде и организация серьёзная, и никто вокруг не улыбается, а у тебя на душе петухи поют. Вспомнил, как с Филей ездили в тайгу шишку кедровую бить. Филя дома такую колотушку соорудил, что Лаврик поднять едва мог.

– Будешь сам колотить, а я только собирать, – так ты ему сказал.

Филя смеётся:

– Шибко пристану – тебе передам, а то ты так и будешь на девку похож.

Лето было жаркое. Дед Максим сказал:

– Шишка нынче раньше созрела и сухая, так что желубить будете на месте. Дробилку привяжи, да мешков поболее прихвати. На всё вам тридни, чтоб не спали и не гулеванили. Филька, я поклажу проверю, чтоб без самогонки. Хлеба подходят, днями жать начнём, так что к субботе ждём.

Лошадь запрягли добрую, харчей мать положила хорошую корзину: и мясо вяленое, и мясо солёное с салом, сала копчёного шмат, кошёлку сырых яиц, каральку колбасы, выменинную у петропавловских киргизов, ещё лук, огурцы, помидоры, чеснок, пять буханок хлеба.

– Ну, ты, Анна, чисто на прииски отправляешь, им жрать некогда будет, пускай работают.

Выехали рано утром и к обеду были в тайге, она началась неожиданно, высунув широкий язык елей и сосен.

– Тут и до кедровников рукой подать, – весело сказал Филя. – Мы с тобой сперва в татарскую деревню заедем, там аул рядом и хороший мой знакомый. Я шишку сам давно не бью, у татарина покупаю. Как смотришь?

Ты смиренно ответил:

– Не знаю. Ты за старшего, решай, только, если без орехов вернемся, я деду не смогу врать.

Брат хохотнул:

– Молодец, Лаврик, за что тебя уважаю – за честность. Другого такого дурака во всей волости или сельсовете не найти. Но ты не тужи, будут нам и игриша, будут и орехи. Я ведь тоже не лыком шит. Всё, приехали.

Остановились около невысокого дома, стоящего в сотне метрах от деревни и тёсом ещё крытого. Хозяйственные постройки окружали дом с трёх сторон. Старый татарин вышел к гостям, долго щурился и смотрел на Филю. Потом вынул изо рта трубку:

– Филька, кажись? Давно не был. Айда в дом. Здравствуй, пожалуй.

– И ты здравствуй, старый Естай. Где твоя молодёжь?

– Побежали в тайгу, орех колотить. Ты за орех чем платить станешь? Привёз?

Филя позвал старика к телеге и выволок из-под передка одетую в куфайку куклу, положил на телегу, развернул:

– Полная бадейка самогона, сам бы пил, да орехи надо.

– Обожди, джигит, давай пока сидим, пьём и едим, а к вечеру молодняк придёт, сам смотришь товар.

Филя тебе подмигнул:

– У него три девки не замужем, мы тебе сегодня и свадьбу сыграем. А орехов они нам отборных нагрузят, не переживай, трое суток свободной жизни – это подарок судьбы. Я бы эти орехи каждый месяц колотить ездил.

Перед закатом солнца верхом на низеньких лошадках вернулись молодые: два безбородых ещё подростка и три девицы, спрыгнули с лошадей, с каждой сняли по два мешка на перевязях, коней отпустили, парни подошли к гостям. Филя командовал:

– Дорогой Естай, это мой меньший брат Лаврентий, но проще – Ларя, Лаврик. Ребят я помню, ты Газис, ты Рустем. А дочерей-красавиц назови сам, кроме Айгуль, она у меня в сердце живёт.

Отец крикнул что-то по-татарски, девушки сняли платки с лица и встали, как учили, чуть потупив взор. Ты даже ошалел от такой красоты, три красавицы в просторных шароварах и пёстрых халатах сверху, лица круглые, чистые, волосы чёрные, прянь смоль, глаза хоть и узкие, но острые, губки пухленькие, груди высокие лезут из халатов.

– Айгуль, старшая дочь, лунный цветок по-вашему. Потом Калима, средняя, а младшая дочка Ляйсан, это как дождик весной, она как раз в апреле родилась, первый дождь был.

Ты не сводил глаз с Ляйсан, такая красивая. Отец ещё что-то долго говорил сыновьям и дочерям, и они быстро разошлись исполнять его приказы. Сели за низенький столик прямо у дома, за домом всхлипнул баран, в стороне на костре стоял тяжёлый казан с водой. Айгуль принесла мелко порезанное вяленое мясо, Филя вынул из корзины всё, что можно, кроме свиного мяса и сала. Рустем сходил в дом за кружками, всем мужчинам налили самогонки из бадейки. Естай сотворил свою молитву, Лаврик спросил:

– А девчонки выпьют с нами?

Естай ответил:

– Когда время придёт, подойдут и выпьют, у девок работы много.

Ты повеселел от выпитой самогонки, пошёл к девчонкам, они запереглядывались, улыбались. Лица умытые, волосы причёсаны, чистые халаты надеты и шаровар уже нет.

– Вы почему в такую жару в штанах ходите?

Девчонки переглянулись:

– А в чём надо ходить девушке у вас?

– В платье, в юбке с кофтой.

Девчонки засмеялись:

– Всё равно мало, под юбкой что-то есть.

Тебя развеселил самогон, сделал смелым:

– Вот чудные! Нет же теперь на вас тех штанов!

Калима что-то шепнула Айгуль, та засмеялась, передала Ляйсан. Какой красивый смех, чистый, свободный, душевный. Над чем они смеются? Что ты такого сказал?

Калима улыбнулась:

– Лаврик, мы готовим пищу, потому ушли и сняли старые одежды, поливали друг дружку, потом вытирались сухо, потом можно надеть только халат.

Ты не унимался:

– А что вы готовите?

Ляйсан подошла к нему, долго смотрела в глаза с улыбкой, потом сказала:

– Бешбармак будет. Ты пил шурпу? А бешбармак ел?

– Когда? – засмеялся ты. – Я и татарок первый раз вижу.

Айгуль была всех смелей:

– Ой, Лаврик, тогда скажи, красивые татарочки, правда?

Ты задохнулся:

– Истинная правда! Вы такие славные, что плакать хочется от вашей красоты.

– А тебе кто из нас больше понравился? – с улыбкой спросила Айгуль.

Тебе никого не хотелось обижать, но ты уже смотрел на Ляйсан и улыбался.

– Ляйсан тебе больше по нраву? Тогда ты с ней сегодня будешь целоваться.

– Как это? – испугался ты.

– Ты умеешь целоваться с девушками? Будешь Ляйсан учить. Она у нас самая скромная.

Ты возразил серьёзно:

– Нельзя же так просто целоваться. А отец? А если братья узнают? У нас с этим строго.

– А у нас нет, – беззаботно хохотнула Айгуль. – Правда, Калима? Давай поцелуем Лаврика.

Ты ничего не успел сообразить, как две девушки крепко обняли тебя и по очереди целовали в губы, прижимая к грудям. Смеясь, они поправили одежды и оставили Лаврика в покое. Он от стыда убежал за угол дома, увидел бадью с водой, сполоснул раскрасневшееся лицо. Даже не заметил, как подошла Ляйсан:

– Обидели тебя сёстры? – Она заботливо вытерла его лицо, подняв полу своего халата и оголив стройную смуглую ногу. – Надо же им поиграть. С татарскими парнями так нельзя, плохое слово говорят, а целоваться хочется.

– Ляйсан, а у тебя есть жених?

– Ты сегодня мой жених.

– Да нет, я спрашиваю по-серьёзному. Сколько тебе лет?

– Семнадцать. Раньше всё было понятно, был калым, был жених. Теперь всё смешалось, татарки за русских замуж выходят, в соседней деревне парень русскую привёл. А ты разве не хочешь побыть моим женихом?

Ты опять растерялся и сказал:

– Пойдем туда, поужинаем, потом решим.

– Подожди, – девушка взяла твое лицо в руки и посмотрела в глаза. – Какой ты чистый и красивый, Лаврик. – И крепко впилась в твои губы, упираясь тугими грудями и нежно поводя ими. – Всё, теперь пойдём.

Когда они вернулись, бешбармак был готов, полные пиалы горячей шурпы стояли перед каждым, Естай разрешил налить всем.

– Сегодня у меня праздник, приехали мои русские друзья, пусть эта вода веселит нас до утра.

Пили самогонку и пили шурпу, горстями ели жирное молодое мясо. Газис принёс маленькую татарскую гармонь, заиграл незнакомую мелодию, сёстры в спокойном и медленном танце прошли несколько кругов по поляне. Взошла луна. Отец попросил, и Рустем спел жалобную песню. Старик прослезился. Ляйсан наклонилась к твоему уху:

– Это любимая песня мамы, она умерла год назад. Я уйду вон в те сосны, когда отец прикажет подать чай. И ты туда приходи.

Ляйсан сидела спиной к толстому дереву на обширной и толстой кошме. Ты осторожно сел рядом. Девушка наклонилась к твоему плечу, потом положила головку на грудь. Оба молчали. Волосы Ляйсан пахли лесной травой, ты уже без стеснения поцеловал её глаза, щёки, губы. Ни одним движением не ответила девушка.

– Тебе не нравится, как я тебя целую?

– Шибко нравится, потому молчу, притихла. Вся ночь наша, я тоже тебя буду целовать. Я сниму свои одежды, так заведено было нашими предками, чтобы женщина входила к мужчине нагой и чистой.

Ты снял рубашку и штаны. Ляйсан спустила с плеч халат и, поднявшись на цыпочки, повесила его на нижний сучок. Как она красива на фоне полной луны! Вы обнялись и долго лежали, чувствуя каждый стук сердца, каждый вдох, всякое движение мышцы. Ляйсан чуть приподнималась и целовала твое тело, никем не тронутое, пугливое. Ты выскользнул из лёгких объятий и принялся выискивать самые щекотливые её места, Ляйсан вздрагивала всем телом, шептала:

– Грудь, сладкий, грудь... Живот... Я сойду с ума. Пупок шевельни языком, ещё, сладкий... – Потом поймала его голову: – Всё, дальше не надо пока.

Ты запыхался, словно сено метал или дрова рубил, нашарал свою рубаху, вытер лицо.

Ляйсан улыбнулась:

– Устал, сладкий мой. Отдохни. Я тоже сердце своё найти не могу.



– Скажи, Ляйсан, почему нельзя, ты же сама меня позвала?

– Разве тебе плохо со мной целоваться? Или ты хочешь, чтобы япустила тебя? Я тоже хочу, только боюсь. Ты ласкай меня, целуй, как хочешь, только пока не проси меня всю.

...Кто-то грубым пинком ударил тебя в ноги, в большие отцовские пимы, видение исчезло, не стало Ляйсан, тёплого вечера, мягкой кошмы. Пожилой милиционер сказал громко:

– Вставай, пошли.

Мать стояла у запертой двери того кабинета, в который уходила вместе с офицером. Ты быстро пришёл в себя:

– Мама, виделись вы с Филей?

– Виделись, – за маму ответил милиционер. – Пошли, и ты повидеаешься.

Он повёл тебя коридором во двор, потом в амбар, откинул незащёлкнутый замок и распахнул дверь. Филя лежал на спине, сложив на груди руки, и спал. Нет, как он может спать на таком морозе? Хотел сказать милиционеру, но тот опередил:

– Загоняйте свою упряжку в ограду и забирайте.

Ты поймал его за полу шинели и всё хотел отругать, что бросили брата на холодном полу, пока тот не ухватил тебя за шапку:

– Ты контуженый или как? Убит твой брат. Матери следователь все объяснил.

– Меня, правда, контузило, ты меня за голову не шибко хватай, там местами черепа нет.

– В Бога мать! – выругался милиционер. – Ну и семейка! Один дезертир, та онемела и столбом стоит, этот дуру гонит! Убили твоего брата, при аресте побежал, вот при попытке стрельнули.

Ты понял. Они его просто убили. Они не говорить с ним приехали, а убить. Как же ты упустил, почему не настоял, что с ними поедешь? Стоял и думал.

Гальян подъехал к самому амбару, толкнул в плечо:

– Айда, поможешь вытащить.

Вы подняли тяжёлое тело Филя и положили на дровни.

Гальян крикнул милиционеру:

– Дай кусок мешковины, хоть прикрыть его.

– Ага, сейчас, на вас мешковины не напасёшься. Буду я на дезертира казённое имущество тратить.

Филю накрыли дедушкиным тулупом, выехали со двора, офицер в накиннутой шинели придерживал мать, подвёл её к саням. Мать почернела, рот скривился, она пыталась что-то сказать. Ты кинулся к ней, а она вытянула руки и не допустила. Пробормотала невнятно:

– Сгинь с глаз моих, Христопродавец! Уйди, чтобы я тебя больше не видела.

Ты все слова разобрал, только понять не мог, куда ему идти и что делать?

– Не хочет она, чтобы ты с братом ехал, – пояснил Гальян. – Мне конюх ихний рассказал, что ты навёл на Филю, он сам возил троих, и команда им была живым не брать, а ухлопать на месте, чтобы не возиться да народ не злить. Матери всё и рассказали. Ты заночуй здесь, пешком не ходи, волки шастают по ночам. А утричком можа кто из наших приедет. Всё, тронулись мы, лошадь покойника чувствует, гужи рвёт.

Всё смешалось: мёртвый Филя, убитая горем мать, прятанный глаза Гальян, уехавшая подвода и он один в районном центре, где не только ночевать негде – где вообще никого не знает. Пошёл в сторону больницы, может, пустят перекаптоваться в тепле, он уж бывал тут на проверках. В полутёмном коридоре осмотрелся, подошел к регистратуре, вечер, никого нет, только женщина в белом халате пишет бумагу. Она подняла на тебя глаза и долго смотрела, улыбаясь:

– Лавруша Акимушкин, ты ли это?

Лицо знакомое, а признать не можешь.

– Лавруша, бывшая матушка Полина я.

Ты смутился, но поздоровствовался.

– А что так поздно в больницу? Приёма уже нет.

Было неловко признаваться, но пришлось.

– В тепло хотел попроситься, мне ночевать негде, а домой пешком далеко, да и волки, мне сказали.

Полина вышла из-за перегородки, вроде поправилась с того времени, с лица гладкая и весёлая, как тогда.

– Я помогу твоему горю, Лавруша. У меня переночуешь. Не бойся, батюшку отправили на Урал, не ведомо, выпустят ли. А мы домик успели купить, так что живу пока одна. Пойдешь?

Ты кивнул.

– Вот и славно. Я через пять минут соберусь.

В домике чисто и тепло. Хозяйка разделась, осталась в юбке и кофте, такой ты её никогда не видел. Ушла в спальню, вышла в рабочем, вместе принесли воды в баню, дров, развели огонь. В доме она поставила самовар, достала бутылку водки, налила по маленькому стаканчику. Выпили, чокнувшись без слов.

– Сколько лет прошло, Лавруша? Ты хоть всё помнишь? Опять покраснел! Лаврик, я тебя только на шесть лет старше, зови меня Полиной. Дрова нёс в баню – ничего не вспомнил?

Ты ответил, что вспомнил, и даже на фронте вспоминал.

– До чего же ты мне нравился, Лаврик! Просто полюбила тебя, да батюшка был больно суров. Ты женатый? Отчего нет?

– Бросила, пока в госпиталях был.

– Куда же тебя ранило? Руки-ноги целы. В голову? Ты шапочку-то сними, ведь тепло. Да, легко отделался. Когда вернулся, снова принял её?

Пришлось все рассказать. Полина сняла с горячей плиты чугунок и жаровню, убрала на край, чтобы не пригорело. Достала из сундука кальсоны и рубаху, большую жёлтую простыню:

– Иди в баню, там уже всё готово. На каменку сам бросишь, сколько надо. Бельё батюшки, чуть великовато, но оно чистое, проутюженное. Иди, я потом быстро обмоюсь, и ужинать будем.

Пока Полина была в бане, ты осмотрелся: в спальне широкая кровать, в комнате конопель деревянная резная, вот тут она мне и постель кинет. Полина вернулась из бани разгоряченная, в просторном халате, быстро переоделась в халатик ситцевый, голову повязала платочком – красивая, молодая, крепкая. Опять Фроська вспомнилась, поди, такая же стала.

– Выпей, Лавруша, если здоровье позволяет, и поешь, а я на тебя посмотрю. Уж больно ты мне молодость напоминаешь. Детей у нас нет, сколь ни старались, живу вот теперь – и не попадая, а мужики сторонятся. Хочу замуж выйти, Лаврик, не сыщешь мне муженька?

Чуть было не брякнул, что за Филю можно было бы пойти, да вовремя вспомнил длинный сегодняшний день. Подумал, что про горе своё рассказывать не надо.

Полина убрала со стола, вынесла из спальни постель, уложила на конопели. Ты разделся и лёг в незнакомую чистоту, весь страшный день закрутился перед глазами, сон навалился тяжёлый и мутный. Очнулся оттого, что женщина стояла на коленях перед постелью и целовала твое лицо.

– Лавруша, пойдём на ту кровать, тут тебе неловко.

Ты проспал долго, умылся, прибрал свою постель, Полина пришла на обед. Обняла тебя, поцеловала:

– Спасибо тебе, Лавруша, за любовь да за ласки, я об них столько лет мечтала. Только вижу, не мила я тебе. Кто там, в деревне, тебе люб, скажи? Жена?

Ты помялся:

– Не знаю, можа и она, но как простить? Я побегу, может, уеду с кем.

– Иди, только не забывай, навевайся, я ждать буду. Вот как всё странно в жизни, никогда бы не подумала, а не могу забыть сопливого парнишку и твои ласки неумелые.

Она поцеловала тебя, как ребёнка, в лоб, и проводила до ворот.

*(Продолжение в следующем номере)*